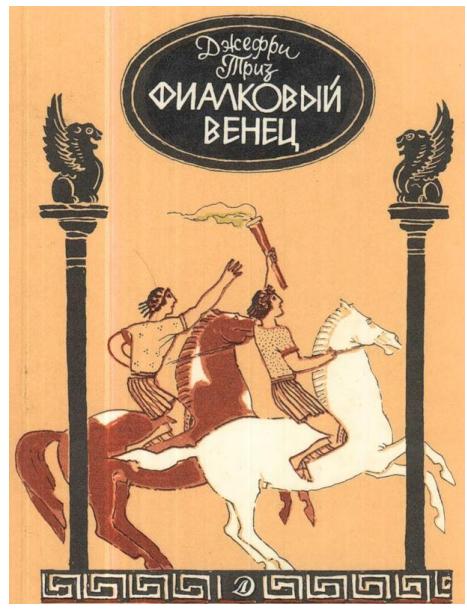




Джефри Триз



Фиалковый венец

Глава 1 СБОРЫ В ТЕАТР

— Сегодня мы не учимся! Сегодня мы не учимся!

Алексид вздрогнул и проснулся. Какой тут сон, когда младший братишко выкрикивает тебе в самое ухо радостную новость!

Он сел на кровати, и ее кожанные ремни громко скрипнули. Щурясь спросонья и от этого становясь особенно похожим на лесного бога Пана^[1], он заметил, что на дворе еще не совсем рассвело. Но и в сером сумраке было видно, что Теон как сумасшедший носится по комнате. Зевнув, Алексид нашупал у себя за спиной подушку.

— Сегодня мы не учимся! — восторженно распевал Теон. — Не учимся! Не учим...

Но тут на него обрушилась подушка, и, не докончив последнего слова, он растянулся на полу. Ничуть не обидевшись, он вскочил на ноги, и его круглая физиономия просияла.

— Может, теперь ты замолчишь? — спросил Алексид, снова натягивая на плечи лиловое одеяло. — А если ты посмеешь швырнуть в меня подушкой, — добавил он, разгадав намерения Теона, — то я угощу тебя сандалией.

— Да ведь я на нее только смотрю! — возмутился Теон. — Она же лопнула. Я весь в перьях.

— Сам виноват: незачем было кукарекать среди ночи.

— А сейчас вовсе и не ночь — небо заметно посветлело, — важно заявил Теон, который любил уснащать свою речь выражениями, заимствованными у взрослых. — Неужели ты забыл, какой сегодня день?

Алексид снова сел на постели, живо сбросил одеяло и спустил ноги на пол.

— Клянусь звездами, сегодня же начинаются Великие Дионисии!^[2] Сон с него как рукой сняло, чуть раскосые карие глаза весело заблестели.

— Да, Великие Дионисии, — подтвердил Теон. — И мы три дня не будем учиться!

— А ты ни о чем другом и думать не можешь, лентяй ты эдакий! — сказал Алексид, потягиваясь. — Ну, я-то с учением покончил.

Теон ехидно улыбнулся:

— Это ты так думаешь, а не отец. И придется тебе продолжать свое образование...

— Если ты не умешься, твоё образование я продолжу сейчас! — и Алексид сделал вид, будто собирается дать брату хорошего пинка; впрочем, он не думал приводить свою угрозу в исполнение, так как еще не обулся. Теон испустил вопль притворного ужаса и бросился бежать, перепрыгнув через свою кровать и через пустую кровать у двери. На ней прежде спал их старший брат Филипп, но ему было уже девятнадцать лет, он второй год нес военную службу на границе, и его не отпустили домой не праздники. На пороге Теон остановился и, чувствуя себя в полной безопасности, вступил в переговоры.

— Захвати мое полотенце, — сказал он. — А я достану воды из колодца.

— Ну ладно, — ворчливо отозвался Алексид.

Он любил попугать младшего брата, но редко переходил от слов к делу.

Взяв оба полотенца, он вышел за братом во внутренний дворик.

По всем Афинам кричали петухи. Квадрат неба над головой из темно-синего стал перламутрово-серым, хотя среди ветвей смоковницы еще блестел узкий серп молодого месяца.

Теон пригибался через край колодца. Аргус — его называли так в честь верного пса из «Одиссеи» — ласково тыкал носом ему в бок.

— Уйди, Аргус! — упрашивал мальчик. — Не щекочись! У тебя нос холодный...

— Сюда, Аргус!

Аргус тотчас бросился к Алексиду, но тот добродушно его оттолкнул:

— Лежать, Аргус! А уж если хочешь прыгать на человека, то прежде обуйся в сандалии. Ты меня всего исцарапал!

Теон вытащил из колодца полное ведро и перелил воду в большой глиняный кувшин. Оставшуюся воду он выплеснул на пса, и тот убежал за смоковницу — на его морде было обиженнное выражение, словно он хотел сказать: «Ну ладно, царапать других нельзя, но самому-то почесаться можно?»

Алексид поднял кувшин и налил воды в сложенные ладони брата. Теон нагнулся, растер лицо, отфыркнулся и ощупью нашел полотенце. Он не любил затягивать умывание.

— Давай теперь я тебе полью, — сказал он.

Даже не заре воздух в маленьком дворике не был прохладным. Стены дома, окружавшие его со всех четырех сторон, сохранили тепло вчерашнего дня. От ледяной колодезной воды у Алексида прехватило дыхание. Но, промыв глаза, он решил показать брату пример и сказал, стуча зубами:

— Остальное, если хочешь, вылей мне на голову, — и от души пожелал, чтобы воды в кувшине оказалось поменьше.

— Нагнись ниже, — весело потребовал Теон. — Я ведь не такой высокий, как ты... пока.

Алексид нагнулся, словно собираясь метнуть диск. Их кувшина вырвалась зеленовато-белая водяная дуга, пахнущая замлей. Она разбилась о его кудрявые каштановые волосы, обдала плечи и сбежала по спине, так что заблестели все бугорки позвонков.

— У-ух! — вырвалось у него. — А-ах!

Вода, журча, стекла в канавку и по ней, под еще запертой дверью, — на улицу.

— Давай я зачерпну еще ведро, — предложил Теон.

Но Алексид уже убежал, размахивая полотенцем и отряхиваясь, словно мокрая собака.

Когда Алексид надел новенький белый хитон, украшенный зубчатой голубой каймой, он услышал, что наверху мать будет служанок. Во дворе Теон, присмирев, лил воду на руки отца, а Седой Парменон почтительно стоял рядом с хозяином, держа наготове чистый плащ, который тот наденет поверх хитона, перед тем как выйти из дома. Мать и старшая сестра Ника (ей было семнадцать лет) будут, конечно, умываться в гинекее. Вон Сира уже наливает воду в их кувшины.

Сиру Алексид недолюбливал, хотя смотреть на нее было приятно. «В доме, где

подрастают мальчики, такие хорошеные рабыни ни к чему», — не раз загадочно повторяла его мать. Сира важничала и называла себя приближенной госпожи, потому что носила за ней покупки. Фратта, вторая служанка, работала гораздо усерднее, но разве можно было показаться на улице в сопровождении этой косоглазой, неуклюжей, громогласной фракинянки? Да к тому же она говорила с таким варварским акцентом! Но Алексид любил ее, как и вся семья.

Теперь он отправился к ней:

— А когда завтрак, Фратта, милая?

— Да некогда мне с завтраками возиться! — Не повернув головы, она продолжала укладывать припасы в большую корзину. — Вон хлеб. А размочить его ты и сам сумеешь, а?

— Попробую. — С этими словами Алексид налил в чашу немного вина и обмакнул в него хлебную корку.

В кухню вошел Теон.

— Что в корзинке? — сразу спросил он.

— Увидишь, родненький, когда ее откроют.

Фратта огляделась, схватила несколько яиц и бросила их в корзину.

Теон испуганно вскрикнул.

— Да они же крутые, дурачок, — успокоил его Алексид.

— Я вижу в корзине яблоки и смоквы, — бормотал себе под нос Теон. — Полагаю, что в ней есть медовые лепешки, потому что вчера их пекли. Надеюсь, там лежит и колбаса. И уж наверное — сыр. А орехи, Фратта?

— Может, парочка и найдется.

— Вот и хорошо! — Теон одобрительно кивнул. — В театре без орехов никак нельзя.

— По-твоему, — насмешливо сказал Алексид, — без них нельзя постичь высокое театральное искусство?

Теон недоуменно замигал, а потом радостно улыбнулся: такие красивые слова необходимо было запомнить для дальнейшего употребления.

— Ну да, — сказал он. — А как же?

— Что ж, — заметила Фратта, созерцая набитую доверху корзину. — Этого вам, пожалуй, хватит. Но хоть убейте, никогда не пойму, как вам кусок в горло лезет, когда вы насмотритесь этих ужасов.

Фратта ни разу в жизни не видела театральных представлений и имела о них самое превратное понятие. Ей доводилось слышать пересказы отдельных отрывков из разных трагедий, — конечно, самых жутких. Так, она знала, что жена Агамемнона убила его в ванной, что Медея прислала царевне отравленный наряд, чтобы погубить соперницу в день свадьбы, и что Прометей был прикован к скале, а коршун терзал его печень. Наверно, она была бы горько разочарована, если бы попала в театр и убедилась, что все эти страшные события происходят за сценой. Впрочем, это не помешало Теону задать ей обычный вопрос:

— А тебе хотелось бы пойти с нами, Фратта, милая?

— Нет, родненький, театры не для рабынь. Ну ничего, когда вы все уберетесь, нам и тут будет неплохо. А теперь уходите-ка из кухни. Вон госпожа и Ника ждут вас во дворе.

— Все готовы? — спросил отец.

— Все, отец, — ответил Алексид.

Когда они вот так всей семьей отправлялись куда-нибудь, отец всегда приидично оглядывал их, словно на военном смотре. Сам он был очень представительным человеком: курчавая борода с проседью, сухощавое крепкое тело. И держался он все так же прямо, как в те дни, когда был гоплитом^[3]. На его щеке и на правой руке виднелись бледные рубцы старых ран. На улицах прохожие указывали на него друг другу. «Это Леонт, — объясняли они приезжим. — Он состязался в беге на Олимпийских играх». И Алексид гордился, когда

слышал этот шепот и видел, как незнакомые люди с интересом смотрят вслед его отцу.

Мать казалась спокойной, но ее пальцы нервно разглаживали складки темно-красного пеплоса[4], а Ника в бело-голубой одежде совсем притихла под отцовским взглядом. Головы обеих окутывали покрывала. На этом настаивал отец. Он был человеком старого склада и любил повторять, что «место женщины у домашнего очага» и что добрая слава девушки заключается в том, чтобы о ее существовании не знал никто, кроме родных. Было просто удивительно, как он еще позволял жене и дочери посещать театр.

Однако в это утро он особенно внимательно осматривал сыновей. Сначала их венки из дикого винограда — такие венки в этот день носили все в честь бога Диониса, потому что это был его праздник, — а потом и всю их одежду. — Поправь застежку на плече, Теон, у тебя перекосился плащ. Его надо сдвинуть на два пальца левее. Помни: благородного мужа всегда можно узнать по тому, как ниспадают складки его одежды.

— Понимаю, отец.

— А ты, Алексид, раз уж ты надел одежду мужа, то и носи ее как подобает. Или, по-твоему, достаточно просунуть в хитон голову и руки и перетянуть его поясом? Расправь его. А когда мы будем в театре, не заставляй меня то и дело толкать тебя локтем, чтобы ты не закладывал ногу за ногу, — это неуклюже, так сидят только варвары.

— Хорошо, отец.

Наконец они отправились в путь. Леонт, держа в руке трость, шел впереди вместе с сыновьями, мать и Ника следовали за ним, а Парменон с корзиной и охапкой подушек замыкал шествие. Парменон был единственным рабом, которого брали в театр, но ведь он был педагогом[5]. Его обязанностью было провожать мальчиков в школу и в гимнасий[6], ожидать там, пока не кончатся занятия, и сопровождать их домой. Он хорошо читал и писал и вообще был образованным человеком. «Еще бы ему не быть образованным, — не раз думал Алексид, — когда он чуть ли не полжизни провел в школе не задней скамье, из года в год выслушивая одни и те же уроки: арифметика, музыка, „Илиада“, „Одиссея“. И если уж он всего этого не помнит, так чего они хотят от нас, мальчиков, которые посещают школу только с семи до пятнадцати лет?»

Ну, для него самого это теперь осталось позади.

С нынешнего дня, а вернее, через три дня, когда кончатся Дионисии, он вступает в новую жизнь. Эфебом[7] он станет только через два года, а пока будет посещать лекции софистов[8]. Иходить к ним и в гимнасий он будет один. «Как хорошо, что отец не богат! — в сотый раз повторил он себе. — Если бы у него было больше рабов, он приставил бы ко мне особого слугу. А Парменон не может разорваться надвое и будет присматривать только за Теоном — он ведь младший».

Свобода... Можно будет узнать столько нового...

Алексид, как истый афинянин, был взволнован даже одной мыслью об этом. Сам не зная почему, он верил, что с этих пор его жизнь станет гораздо интереснее. Его ждут всякие приключения. Да, так будет.

Непременно.

Но чего именно он жалел, он сказать не мог бы и очень удивился бы и даже испугался, если бы какой-нибудь оракул предсказал ему, что уже в этот день начнется приключение, которое превзойдет все его ожидания, — начнется так же незаметно, как начинается река.

Глава 2

АЛЕКСИД ПРИОБРЕТАЕТ ВРАГА

Солнце уже поднялось над восточными горами. Оно заливало ярким светом узкие уложки, играло на белых стенах, испещренных надписями вроде: «Голосуйте за Телия!» или:

«Архий любит Дию!», и карикатурами на влиятельных граждан. Все люди на улице спешили в одном направлении.

— Пойдем быстрее, — приставал Теон, — а то все лучшие места займут!

Леонт рассмеялся. Он был уже в праздничном настроении и, вместо того чтобы напомнить сыну, что необходимо всегда соблюдать достоинство, сказал только:

— Это ведь не марафонский бег. Да и бедняге Парменону нелегко тащить такую корзину.

— А что будут представлять в этом году? Кто победит? У нас в школе есть мальчик — его отец ужасно богат и он хорег [9] одной из сегодняшних трагедий, — так он говорит...

Когда Теон начинал болтать, всем оставалось только молчать. Но сейчас Алексида это скорее обрадовало: куда интереснее обдумывать то, что видишь и слышишь вокруг себя на улицах. Вон те люди, наверное, приезжие — дорийцы с западных островов, а может быть, судя по их произношению, и откуда-нибудь подальше... А эти двое смуглых мужчин с томными черными глазами, чьи руки в лад их беседе взлетают и опускаются, точно птицы, уж наверно египетские купцы... Этот важный сановник, которого сопровождают четыре служителя, надо полагать, чужеземный посол... На праздник Великих Дионисий в Афины съезжаются люди из многих стран.

«А как же может быть иначе?» — гордо подумал он.

Ведь Афины — самый замечательный город-государство во всей Греции, а греки — самый образованный народ мира. Алексид, разумеется, не мог помнить Перикла, который создал славу Афин и сделал их «школой Греции». Но Леонт, на всю жизнь сохранивший свое юношеское преклонение перед Периклом, столько о нем рассказывал, что Алексиду порой казалось, будто он сам не раз видел этого великого государственного мужа. Леонт говорил, что после его смерти все переменилось к худшему. При любом плохом известии он покачивал головой и ворчал: «Будь жив Перикл, этого не случилось бы!»

Как хороши Афины в золотых лучах утреннего солнца! У Алексида даже сердце защемило. Он был готов дергать за плащ всех чужестранцев и спрашивать: «Как тебе нравятся наши Афины? Есть ли на свете город великолепнее?»

Чтобы добраться до театра, им надо было обойти холм Акрополя. Над крутыми, поросшими травой склонами вздымались скалы из лиловатого мрамора, увенчанные мощными стенами. Дорога была проложена прямо под ними, так что прохожим не были видны колонны храмов на вершине холма, — только высокие кровли да острие копья и шлем богини Афины. Эта сверкающая бронзовая статуя высотой в двадцать локтей [10] служила путеводным знаком мореходам, когда их корабли находились еще далеко в море.

Теперь дорога шла поперек склона. Внизу лежала рыночная площадь, расположенная в самой оживленной части города. Они вступили на одну из великолепнейших улиц Афин — по обеим ее сторонам тянулись статуи и другие памятники победителям прошлых театральных состязаний. Отсюда за крышами домов и городскими стенами открывался чудесный вид на север: зеленые поля и луга, среди которых струилась река Кефис в уборе из серебристо-серых тополей и ярко зеленых платанов. Там и сям виднелись сельские усадьбы и деревушки, окруженные хлебными полями и фруктовыми садами: Колон, знаменитый своими соловьями, а дальше — Ахарны, где живут угольщики. За Ахарнами вздымались еще белеющие зимними снегами горы, чьи подножия были опоясаны темными сосновыми лесами или более светлыми дубовыми, — Эгалей, Парнет, а позади них Киферон уходил высоко в небо, защищая Афины от северных ветров и от вражеских набегов. Где-то там, на одной из застав в горах, бедняга Филипп сердито чистит свой щит и думает о том, что вот сейчас они все идут в театр без него. А его родные — о чем думали они, когда обогнули уступ и увидали под южной стеной Акрополя скамьи амфитеатра, врезанного в склон холма?

— А убивать кого-нибудь будут? — приставал к отцу Теон.

— И зачем только она носит шафрановые одежды! — говорила Ника матери.

— Этот цвет не идет к ее землистой коже.

— Всю руку мне оттянула проклятая корзина! — бормотал себе под нос Парменон.

А Алексид думал о том, как, наверно, чудесно стать победителем на театральных состязаниях, чтобы тебя потом почтили статуей, а твои слова навсегда остались в памяти твоих соотечественников, как строки Еврипида, восславившего Афины.

Да, писать, как Еврипид! Этим можно гордиться!

Отец заплатил за вход, и они влились в толпу, заполнившую крутые проходы. Передние ряды предназначались для должностных лиц, знатных чужестранцев и отличившихся граждан — победителей на Олимпийских играх. Если бы Леонт победил, а не пришел вторым, отстав всего на шаг, он до самой смерти сидел бы на почетном месте в первых рядах. Но он не победил и поэтому теперь пошел дальше по проходу, иногда оборачиваясь, чтобы помочь жене, — в длинных, метущих землю одеждах не так-то просто подниматься по высоким ступеням.

— Сядем здесь, — сказал он наконец. — Клади подушки вот тут, Парменон.

Парменон с облегчением поставил корзину и положил на скамью три подушки — Леонт считал, что не следует баловать ни мальчиков, ни рабов. Едва они уселись, как высокий молодой человек, болтавший с приятелями, сидевшими несколькими рядами ниже, повернулся и спешно направился к ним. Вид у него был очень надменный. Леонт нахмурился. Он терпеть не мог подобных богатых юнцов: багряный плащ с тяжелой золотой бахромой, диковинные сапожки, золотые перстни, унизывающие пальцы почти до самых накрашенных ногтей, и (подумать только!) длинные волосы по спартанской моде.

Алексид подтолкнул локтем Теона, чтобы тот посмотрел на негодующее лицо отца. Но тут, к большому удивлению, щеголь остановился у их ряда и сказал визгливо:

— Это мое место! Тебе придется поискать другое!

Так с Леоном, во всяком случае, разговаривать не следовало. Сам человек учтивый, он не терпел грубости в других.

Посмотрев на щеголя, он сдержанно спросил:

— Ты обращался ко мне, юноша?

— Да, к тебе. Пойди другое место. А тут сижу я.

Все вокруг почувствовали сладкий и очень сильный запах. Молодой щеголь жевал какую-то душистую смолу, и, когда он открыл рот, кругом разлился приторный аромат. Леонт смерил его строгим взглядом.

— Юноша, — сказал он, — по речи твоей я полагаю, что ты афинянин, хотя волосы ты носишь как спартанец, а пышностью одежды напоминаешь перса...

— Конечно, я афинянин!

— Ну, так вспомни, что Афины — демократия. Если не считать первых рядов, каждый может сидеть где захочет.

— Но я занял это место раньше! Я только отошел поговорить с другом. Уберешься ты отсюда или нет?

— Я никуда не уйду. — Леонт оглянулся; верхние ряды быстро заполнялись народом.

— Вон там еще свободно отличное место. А чтобы найти шесть мест рядом, моей жене придется подниматься на самый верх. Тебе следовало бы оставить здесь подушку или еще что-нибудь.

— Правильно, — сказал сосед. — Раз уходишь, оставь что-нибудь на своем месте.

— Да кто он такой? Чего он важничает? — поддержали сидевшие поблизости.

То же самое повторяли все вокруг. Молодой щеголь покраснел до корней своих напомаженных волос. Никто не слушал его надменных требований. Ему дружно советовали поскорее сесть (только подальше отсюда), заткнуть глотку или убраться в Спарту. Но только

когда прозвучал крик глашатая, объявиившего, что сейчас начнется жертвоприношение Дионису, открывающее праздник, щеголь наконец сдался: презрительно взмахнув своим багряным плащом, он направился к свободному месту в верхнем ряду.

— Отец, кто он такой? — спросила Ника испуганным шепотом.

Леонт презрительно хмыкнул:

— Его зовут Гиппий. Он из эвпатридов[11]. Я знаю этих молодчиков. Денег хоть отбавляй, тратят они их на скаковых лошадей да на состязания, а делом заниматься не желают. Будь жив Перикл...

— Ш-ш-ш! — прервала его жена.

Жрец Диониса встал со своего почетного места в первом ряду и вышел вперед. Началось жертвоприношение, и двенадцать тысяч человек поднялись со своих мест. Затем, когда они вновь опустились на скамьи, опять раздался громкий и ясный голос глашатая:

— Еврипид, сын Мнесарха, предлагает свою трагедию...

По спине Алексида пробежала блаженная дрожь. Представление началось.

И до полудня окружающий мир более не существовал для Алексида. Он забыл и о жесткой скамье, и о своих соседях. Все, что лежало вне пределов сцены, словно исчезло: он не видел ни палевых круч Гиметтского кряжа, ни блестящего белого песка Фалера, ни синей бухты за ним, усеянной парусами. Он не замечал даже чаек, проносившихся порой над самыми головами зрителей. Узкие подмостки и примыкающая к ним спереди круглая оркестра[12] заменяли теперь для Алексида весь мир. Актеры в высоких головных уборах и масках казались выше и величественнее обыкновенных людей благодаря котурнам[13] и особой одежде. Да, это были не обыкновенные люди, а настоящие боги и богини, герои и героини седой старины, о которых он столько слышал в школе. Созданию этой иллюзии помогала и музыка флейт, то печальная и жалобная, то бурная и угрожающая, и плавные движения хора, который в промежутках между эпизодиями[14] трагедии, танцуя, переходил от одного края оркестры к другому и пел звучные строфы. Но главные чары таились в стихах, то слагавшихся в страстную речь или задумчивый монолог, то, как мячик, перелетавших от актера к актеру в выразительных строках диалога.

Алексид и в школе всегда любил стихи — длинные повествования Гомера, коротенькие эпиграммы — десяток строк, заключавшие в себе законченный прекрасный образ, шутку или глубокую мысль. Но больше всего он любил стихи из трагедий. Их он выучивал наизусть и даже сам тайком сочинял, не признаваясь в этом никому, кроме своего лучшего друга. Написать простым стихом речь героя было не так уж трудно, но над строфами для хора приходилось долго ломать голову — так сложны были их ритмы, да к тому же каждая полустрофа должна была точно соответствовать другой, до последнего слога.

Но как замечательно получается это у Еврипида — словно само собой! Вот слушаешь стихи и даже не вспомнишь о ритме, о том, что все эти строки были задуманы, сочинены и записаны много месяцев назад! Слова срываются с губ актеров, словно только сейчас порождены их сердцами.

По правилам театральных состязаний были показаны три трагедии. Их представление длилось до полудня, и только тогда Алексид немного пришел в себя.

— Правда, хорошо было? — спросил Теон. — Только лучше бы убивали прямо на сцене, вместо того чтобы отдергивать занавеску и показывать покойников, когда уже все кончено.

— Нет, ты не грек, а какой-то кровожадный варвар! Это было бы уже не искусство.

— А что тут плохого?

— Убийство и всякая насилиственная смерть уродливы и безобразны. Ни один грек не захочет показать их в театре.

Есть вещи, — снисходительно закончил Алексид, — которые лучше предоставлять

воображению.

Теон собрался было заспорить, но тут, к счастью, Парменон открыл корзину с едой. Кроме колбасы, крутых яиц и сыра, в ней нашлась холодная курица и даже румяные яблоки, сладкие смоквы, изюм, поджаристые медовые лепешки и амфоры с вином и водой, чтобы его разбавлять. А орехов оказалось столько, что их должно было хватить до конца дневного представления. Неудивительно, что у Парменона от такой тяжести разболелась рука. Но вот наконец даже Теон наелся досыта. Облизав пальцы, он удовлетворенно вздохнул и сказал:

— Ну, а теперь можно посмотреть комедии. Вот хорошо-то!

Парменон сложил в корзины пустые амфоры и чаши. Мать и Ника встали, смахивая крошки с одежды. На лице Ники была написана досада. Теон немедленно завладел ее подушкой и ехидно улыбнулся:

— Бедненькая Ника! А ты была бы рада остаться, а?

Ника покала плечами, но ничего не ответила и только обиженно надула губы. Мать сказала спешно:

— Разумеется, она не хочет оставаться. Благовоспитанные девушки не смотрят комедий.

— А почему? — не унимался Теон.

— Потому что, — строго сказал отец, — комедии рассказывают не о старинных легендах, а о современных делах. Женщины же ничего не понимают в политике и только скучали бы.

— Ты тоже скучала бы, Ника?

Его сестра встярхнула темноволосой головкой в венке из дикого винограда.

— Откуда я знаю? — сказала она сердито. — Раз мне не позволяют остаться!

— И не позволят! — отрезал отец.

— Конечно, — испуганно вмешалась мать. — И дело не только в политике. Шутки в комедиях часто бывают... очень грубыми.

— Я думаю, милая, — сказал Леонт, — вам пора идти. Большинство женщин уже покинуло театр, и первая комедия вот-вот начнется. Вернись, чтобы встретить нас после представления, Парменон.

Женщины и рабы ушли, и на скамьях стало просторнее.

— По-моему, это нечестно, — пробормотал Алексид, не сказавший во время спора ни слова.

Комедий было представлено две. Первая, хотя Теон и хотел до упаду, никуда не годилась, и публика открыто выражала неодобрение. Зрители свистели, прищелкивали языком, а те, кто сидел поближе, начали даже швырять на сцену ореховую скорлупу и гнилые яблоки. Актерам еле удалось доиграть до конца.

— Как им, наверно, неприятно! — сказал Алексид. — Да и автору — каково-то ему сейчас?

— Раз они показывают всякую чепуху, — возразил его отец, — то пусть не обзываются, если народ прямо высказывает свое мнение. Мы, афиняне, считаем, что каждый вправе говорить свободно.

Вторая комедия оказалась намного лучше. Ее сочинил Аристофан, уже много лет писавший комедии и не раз выходивший победителем на театральных состязаниях. Это была на редкость интересная комедия со сказочным сюжетом и нелепыми действующими лицами, которые попадали в такие смешные положения, что Алексид просто корчился от смеха, а по щекам его катились слезы. И какая удивительная смесь; тонкие, остроумные шутки, шпильки по адресу политических деятелей, карикатуры на знаменитых государственных мужей, пародии на строки прославленных трагедий, поговорки, прибаутки,

намеки, которые Алексид далеко не всегда понимал, грубые площадные остроты, вроде тех, которые его товарищи шепотом сообщали друг другу в школе, и строфы хора, не уступавшие по красоте стиха утренним трагедиям. Публика просто неистовствовала, особенно когда корифей[15] подошел к самому краю оркестры и, обращаясь прямо к амфитеатру, произнес длинную, написанную звонкими стихами речь о самых злободневных событиях с упоминанием всем известных лиц. После каждой строчки зрители разражались рукоплесканиями и ревели от восторга.

— Послушай, — шепнул Теон с благоговейным ужасом после одного особенно дерзкого выпада против влиятельного политического деятеля, — и как только он не боится?

— Мы, афиняне, считаем, что каждый вправе говорить свободно, — передразнивая Леонта, с торжественной важностью шепнул Алексид.

Теон одобрительно фыркнул, но тут же опасливо покосился на отца. Однако тот тоже смеялся, правда — шутке актера.

Но вот комедия закончилась (гораздо раньше, чем хотелось бы Алексиду) буйным пиршеством, на котором плясали мужчины в костюмах танцовщиц, и шутовской свадебной процессией. Когда хор удалился с оркестры, раздались громкие рукоплескания.

Теон вскочил и принялся приплясывать, разминая затекшие ноги.

— Вот это комедия! Правда, отец? Тем, которые будут показаны завтра и послезавтра, надо быть уж не знаю какими, чтобы победу присудили им. Алексид тоже встал, в его карих глазах прыгали огоньки радостного возбуждения. От игры актеров и от стихов он опьянел, как от вина. А в его голове уже слагались собственные строки. Они были не слишком остроумны, но ему самому показались отличными, и, не задумываясь, он дернул Теона за локоть и сказал:

— Я, пожалуй, тоже напишу комедию. Вот послушай! — И, став в позу, он презрительно взмахнул воображаемым плащом и произнес напыщенным тоном:

— «Иль ты не знаешь, кто перед тобой? Узри же Гиппия!» — И тут же ответил себе другим голосом:

— «На кудри глядя длинные твои, счел девушкой тебя я».

Смешливый Теон расхохотался, и Алексид, польщенный этим продолжал:

— «Где сяду я? К лицу ль сидеть мне сзади?»

После четвертой строки, в которой Гиппию указывалось, что благовоспитанной девушке вообще не положено смотреть комедии, Теон совсем задохнулся от смеха. И тут Алексид, внезапно спохватившись, заметил, что слушает его не только брат.

В нескольких шагах от него стоял Гиппий. Его бледное лицо исказилось яростью. Судя по всему, он вообще не был склонен легко прощать обиды, и особенно — такие язвительные насмешки. Алексид понял, что нажил смертельного врага. А какого опасного — это ему еще предстояло узнать.

Глава 3 ТАИНСТВЕННАЯ ФЛЕЙТА

Кончились три дня Великих Дионисий, и потянулись будни, особенно скучные по сравнению с последним вечером праздника, когда были объявлены победители состязаний и весь город ликовал и веселился.

На другой день Теон, как обычно, отправился в школу, а Алексида отец повел к Милону, софисту, у которого Алексиду предстояло брать уроки ораторского искусства. Однако почтенного мужа мучила сильная головная боль («Не в меру праздновал вчера», — пробормотал Алексид), и он через привратника просил извинить его: сегодня он отдыхает. Занятия возобновятся завтра.

Алексид ничуть не был огорчен.

Относительно его занятий у Милона, да и не только относительно них, они с Леоном придерживались разных мнений. Он уже давно сказал:

— Но, отец, я ведь не собираюсь выступать с речами.

— Как ты можешь утверждать это заранее? — вполне справедливо возразил Леонт. — Ты же еще мальчик. Но со временем тебе придется занять свое место в Народном собрании. Не говоря уж о судебных процессах. Ты, может быть, и не станешь обращаться в суд, но это не помешает кому-нибудь другому подать на тебя жалобу — Афины полны завистливых сутяг, — и тебе придется произносить речь в свою защиту. Никто за тебя этого не сделает. А когда тебя слушают пятьсот присяжных, ты только погубишь дело, если будешь бормотать что-то невнятное себе в бороду.

Алексид решил, что эта опасность ему пока не угрожает: первый пушок только еще чуть-чуть пробивался на его верхней губе. Однако такой довод ли мог переубедить отца. Но Алексид сумел выискать единственное слабое место в рассуждениях Леонта:

— Ведь ты сам никогда не выступаешь в Народном собрании.

— Да, я не...

— Почему же ты хочешь, чтобы выступал я?

И тут Леонт сказал удивительную вещь. Удивительную потому, что он никогда не хвалил своих сыновей, особенно Алексида:

— Потому что, мальчик, ты можешь поддержать честь нашей семьи своим умом.

— Я? Но ведь...

— Не спорь. Ты никогда не станешь атлетом, как твой брат Филипп, не говоря уж о малыше Теоне... Вот из него, если он будет стараться, выйдет толк — только не говори ему этого...

Суровое лицо Леонта смягчилось. Он о чем-то задумался, и Алексиду казалось, что он читает его мысли: заветной мечтой отца было увидеть, как его сыновья, подобно ему самому, выступят на Олимпийских играх, но, в отличие от него, может быть, добьются победы и будут встречены в Афинах, как герои, чтобы до конца дней жить в почете и уважении. «И сколько же огорчений, значит, доставил ему я!» — с грустью подумал Алексид, вспомнив свои более чем скромные успехи в атлетических состязаниях.

— На этом поприще ты никогда не стяжаешь лавров, — продолжал тем временем Леонт, — но ты можешь добиться кое-чего почти столь же хорошего... да нет, даже столь же хорошего. У тебя светлая голова. И язык у тебя неплохо подвешен. Сколько раз ты нас всех смешил своими шутками! И, хоть ты еще очень молод, тебя интересуют все важные события в жизни нашего города.

— Да, но...

— Твой путь ясен. Я буду гордиться сыном, который выступает в Народном собрании. Отечеству нужны честные государственные мужи, иначе нам не вернуть былой славы.

Итак, было решено, что он будет учиться у Милона, чтобы уметь облекать свои мысли в наиболее выразительные слова. Алексид, правда, по-прежнему считал, что эти слова могут пригодиться для чего-нибудь получше, чем длинные речи в Народном собрании, но, как бы то ни было, пока ему приходилось послушно выполнять волю отца. Вот почему он очень обрадовался, когда привратник сообщил им, что ученый муж немного нездоров и занятий не будет.

— Чем ты сейчас займешься? — спросил Леонт у сына. Сам он торопился в свою гончарную мастерскую, чтобы проверить, взялись ли рабы за дело или проводят время в болтовне, обленившись за дни праздника.

— Ну... — начал Алексид неуверенно. — Я, пожалуй, зайду к Лукиану. Мы сыграем в мяч или, может быть, погуляем за городом.

Леонт кивнул. Ему была по душе дружба сына с Лукианом. Лукиана был красив, но ничуть не изнежен; он отличался во всех видах атлетических состязаний и происходил из весьма почтенной семьи — все его предки были коренными афинянами и в то же время не хвастали неправдоподобной родословной, восходящей к богам. Короче говоря, Леонт считал, что дружба с таким юношем во всех отношениях полезна его сыну.

— Если вы отправитесь на прогулку, — сказал он, — то зайди в нашу усадьбу. Предупреди там, что я на днях у них побываю, так чтобы все было в полном порядке.

— Хорошо, отец.

Полчаса спустя Алексид и Лукиан уже выходили из города через восточные ворота. Небольшая деревенская усадьба Леонта (у него, как и у большинства афинских ремесленников, был свой загородный дом) лежала стадиях^[16] в сорока от Афин. Алексид любил белый дом, уютно укрывшийся среди зеленых холмов, любил окружавшие его серовато-серебристые оливковые деревья и виноградники на склонах, жужжащих пчел и хлопотливых кур, поросят, старого осла и двух коров с удивительно кроткими глазами.

Друзья передали приказание Леонта старику крестьянину, который вместе с женой присматривал за хозяйством, немного отдохнули в тени и, напившись молока, отправились дальше.

— Пойдем-ка вверх по реке, — предложил Лукиан.

— Ладно. Можно будет искупаться.

Они свернули с дороги и пошли через фруктовые сады туда, где в узкой долине катил свои воды Илисс, стремительно сбегавший со склонов Гиметта и Пентеликона.

Смуглый, черноволосый Лукиан, стройный и изящный, как чистокровный скаковой конь, был немного выше Алексида. Коренастый Алексид прыгал с камня на камень, словно молодой козленок, встряхивая каштановыми кудрями. Давным-давно они поклялись в вечной дружбе по примеру Ахилла и Патрокла^[17].

Алексид всегда немного гордился дружбой с Лукианом — ведь тот мог выбрать себе в друзья кого угодно. Многие мальчики набивались ему в приятели. «Ты мне нравишься потому, — как-то признался ему Лукиан, — что никогда ко мне не подлизывался и не надоедал мне. И мне с тобой весело».

В дубовой роще закуковала кукушка. Молоденькая травка на склоне пестрела фиалками. В окрестностях Афин они зацветают в начале декабря и цветут до середины мая.

— Река еще не обмелела, — заметил Лукиан.

Летом Илисс совсем пересыхал и превращался в цепочку мелких прудов среди белых каменных россыпей. Но пока его все еще питали зимние снега и весенние ливни. На камнях кипела белая пена, с высоких уступов, словно длинные зеленые гривы, ниспадали водяные струи. Ниже водопадов река разливалась прозрачными заводями, где можно было разглядеть на дне самые мелкие камешки.

В одной из таких заводей они и искупались. Вода была ледяная, так как над ней смыкался лиственний свод, сквозь который солнечным лучам было нелегко пробиться. Но там, где они достигали воды, на ее поверхности плясали ослепительные пятна, расцвечивая яркими зайчиками серые скалы над заводью. Алексид как зачарованный следил за этой игрой красок.

Лукиан, резвясь в заводи, как дельфин, окатил его градом брызг.

— Да очнись же, Алексид! Или ты вдруг окаменел?

Еще несколько минут они гонялись друг за другом и ныряли, а потом вылезли на залитый солнцем уступ. Их мокрая кожа блестела, и оба были похожи на статуи — Алексид на бронзовую, а Лукиан на вырезанную из слоновой кости.

— Жаль, мы не захватили оливкового масла, чтобы натереться, — недовольно проворчал Лукиан.

— Того и гляди, ты начнешь носить с собой флакон с притираниями, — засмеялся Алексид.

— Ну, я не такой дурак. Пусть ими хващают щеголи. Вроде этого Гиппия.

Лукиан презрительно усмехнулся. Флаконы с притираниями, так же как длинные волосы, ароматные смолы и драгоценности, были непременной принадлежностью юных отпрысков «первых афинских семей», как выражались они сами. Сограждане, впрочем, называли их гораздо менее лестными словами.

— Скажи-ка мне еще раз стихи, которые ты о нем сочинил, — попросил Лукиан.

Алексид выполнил его просьбу и добавил еще несколько тут же сочиненных строк. Лукиан одобрительно засмеялся:

— Очень неплохо!

— Ну, это-то совсем не трудно. Такие безделки слагаются сами собой, было бы подходящее нестроение. Вот если бы я умел сочинять настоящие стихи!

— Как Гомер?

— Нет! В наши дни нельзя писать, как Гомер.

— А как кто?

— Как Еврипид.

Лукиан, по-видимому, не ожидал такого ответа.

— Мой отец невысокого мнения в Еврипиде, — сказал он. — Он называет его «этот проходимец». Говорят, его мать была простой рыночной торговкой и продавала овощи, а он развелся с женой и...

— Все это только сплетни! — Алексид порой досадовал на друга: ну почему Лукиан всегда думает, как все, и никогда ни в чем не сомневается? — А если это даже и правда, его трагедии не стали от этого хуже.

— Отцу и его трагедии не нравятся. Он говорил, что они внушают людям всякие мысли.

— Ну и что? По-моему, это-то и хорошо.

— Ты прекрасно понимаешь, что я хотел сказать, — ответил Лукиан, перекатываясь набок и подставляя солнцу последние невысохшие капли влаги между лопатками. — И, во всяком случае, спорить я не собираюсь. Ты всегда ухитряешься так истолковать мои слова, будто я неправ. Но мой отец знает, что говорит, и он постарше тебя.

— В таком случае, Еврипид мудрее нас всех, — ответил Алексид, и в его карих глазах вспыхнули лукавые искорки. — Ведь ему уже стукнуло семьдесят, а может, и больше.

Освеженные купанием, друзья надели свои хитоны и пошли дальше по ущелью, неся сандалии в руках, чтобы переходить перекаты вброд.

— Мне тут нравится, — сказал Алексид. — Мы совсем одни, и кругом на десятки стадиев ни одного человека.

— Что это? — Лукиан вдруг остановился, ухватившись правой лукой за молоденькое деревце, чтобы не потерять равновесия: в эту минуту он как раз взбирался по крутыму, нагретому солнцем склону.

Алексид прислушался, но услышал только журчание и плеск воды на камнях.

— Наверно, опять кукушка? — спросил он.

— Нет. Какая-то музыка.

— Музыка — здесь?

— Так мне показалось. Как будто флейта или свирель. Но ведь этого же не может быть, правда?

— Конечно! Если только тут не скрывается сам бог Пан. А смертных пастухов поблизости нет, — пошутил Алексид.

Но Лукиан чуть-чуть побледнел.

— Не следует говорить такие вещи, Алексид!

— Но ведь в этих местах и правда никто не пасет ни овец, ни коз...

— Я не о том. Не следует упоминать имя бога... да еще таким тоном.

Это может плохо кончиться.

Алексид весело улыбнулся:

— Мне еще не доводилось слышать, чтобы Пан бродил под самыми стенами Афин. Интересно было бы взглянуть на него.

— Да замолчи ты наконец! — воскликнул Лукиан. — На богов смотреть нельзя.

— А ты знаешь людей, которые их видели?

— Нет. Но в старину это бывало очень часто.

— В седую старину, — согласился Алексид. — По правде говоря, поэтам без таких встреч пришлось бы туда. А какая это была музыка?

— Она была... ну... какая-то нездешняя. Я такой никогда не слыхал.

— Да твой отец, кажется, и не одобряет игру на флейте? — лукаво спросил Алексид.

— Да.

— И мой тоже. Он не позволил мне учиться у флейтиста. «Благородные мужи играют на лирах, — передразнил она отца. — А флейта годится только для женщин. Эта музыка слишком уж чувствительна».

— Вот и мой отец говорит то же самое.

— Отцы все на один лад, — вздохнул Алексид. — И где только они набираются одинаковых мнений, слепленных по одному образцу! Может, их выдают полноправным гражданам вместе с табличками для голосования?

— Я больше ничего не слышу, — сухо сказал Лукиан. — Наверно, мне померещилось.

— Наверно.

— Пойдем дальше?

— Пожалуй. Если, конечно, ты не боишься встретить Па... э... ну, того, кто играет на свирели, и впасть в священное безумие.

Лукиан только презрительно вскинул голову, и друзья зашагали дальше.

Они старались держаться у самой воды, но иногда к реке с обоих берегов вплотную подступали отвесные скалы, и тогда им приходилось сворачивать в лес и искать окольный путь. И вот, когда, сделав крюк, они вышли на обрыв, такой высокий, что деревья внизу совсем скрывали от них реку, Лукиан снова остановился.

— Что случилось? Ты опять что-нибудь услышал?

— Нет. Но я что-то увидел.

— Что же?

— Как будто человеческую голову...

— Без тела? Фу, какое неприятное зрелище!

— Перестань валять дурака, Алексид! Я говорю серьезно. Вон там внизу, среди листьев, мелькнуло что-то белое.

— Вода, разумеется.

— Нет, я готов поклясться, что видел лицо и плечо...

— Но ведь белые? А у... того, кто играет на свирели, кожа темная, да к тому же он мохнат, как козел. А рогов ты не видел?

— Перестань! Такими вещами не шутят! — прошипел Лукиан (оба они говорили шепотом — на всякий случай). — Неужели ты ни во что не веришь? Разве ты не веришь в нимф?

— Да у тебя театральное несварение!

— Это еще что такое?

— За последние дни ты насмотрелся в театре всяких богов и полубогов, а теперь они тебе повсюду чудятся, потому что твоя печень забита мифами и...

— Послушай, — сердито сказал Лукиан. — В лесах и реках на самом деле обитают полубоги. А если я видел не нимфу то кого же? Обыкновенная смертная девушка не стала бы бродить тут в одиночестве.

— Ты прав, — согласился Алексид, вспомнив, что Нику ни за что не выпускают из дома одну.

Правда, в Афинах были девушки, которых не содержали в такой строгости, — девушки из семей победнее, которым приходилось ходить на рынок и за водой к общественным источникам, — но и они не посмели бы уйти за городские ворота.

— Так, значит...

— Я же сказал, что тебе почудилось.

Значит, и это мне просто чудится? — Вдруг спросил Лукиан голосом, в котором смешались страх и торжество.

Теперь и Алексид услышал музыку. Странная тоскливая и манящая мелодия неслась к нему из зеленой пропасти у их ног. Она звала его. И в то же время по телу его пробегала холодная дрожь, а сердце сжалось от страха. Губы его пересохли, ладони стали влажными от пота.

— С меня довольно, — сказал Лукиан. — Пошли обратно.

— Нет.

— Ты что, собираешься спуститься туда? — Лукиан схватил приятеля за руку.

— Пусти! Я хочу посмотреть, что это.

— Ты с ума сошел! Если там нимфа, она превратит тебя в какого-нибудь зверя или так тебя изменит, что...

Алексид вырвался и начал спускаться с обрыва. Отчасти Лукиан оказался прав — это мгновение действительно что-то в нем навсегда изменило.

Лукиан несколько секунд стоял неподвижно — страх боролся в нем с чувством долга. Но Алексид все-таки был его лучшим другом, и он заставил себя последовать за ним под вновь сомкнувшийся лиственный свод.

Глава 4

МРАКОВНАЯ ПЕЩЕРА

Едва Алексид раздвинул ветви олеандра, заслонявшие от него реку, щемящая музыка сразу оборвалась. Нимфа, сидевшая на другом берегу заводи, подняла глаза, увидела его и взвизгнув, вскочила на ноги. Такой визг вряд ли мог вырваться из горла нимфы — точно так же верещала Ника, когда Теон сунул ей за шиворот ящерицу. И Алексид сразу перестал бояться.

— Я не хотел тебя испугать, извини, — сказал он вежливо.

— Ах! Да это... ничего... — ответила она, с трудом переводя дыхание. Очевидно, она хотела было убежать, но теперь передумала. Их разделяла глубокая прозрачная заводь шириной локтей в десять. Девушка нерешительно засмеялась:

— Ты появился так неожиданно, что мне показалось, будто ты не человек, а...

— Спасибо!

— Что же тут обидного? Ты такой коричневый... и глаза у тебя раскосые, как у него...

— Но у меня нет рожек, — заверил он ее с улыбкой. — И ноги самые обыкновенные, без копыт. Вот погляди!

Он вышел из зарослей и, помахивая зажатыми в руке ременными сандалиями, остановился у самой воды — обычный юноша в белом хитоне с голубой каймой.

Тут из кустов вышел Лукиан. Спокойные серо-голубые глаза девушки раскрылись еще шире.

— Вас там еще много? — спросила она.

Оправившись от первого испуга, она говорила теперь уверенно и беззаботно, не опуская глаз и не запинаясь от смущения, как те немногие девушки, с которыми они были знакомы. Ее голос был мелодичен, но сильный дорический акцент резал их афинский слух.

— Нас только двое, — ответил Алексид. — Не бойся.

Она вдруг беззвучно засмеялась. Это был именно смех, не похожий на спокойную улыбку, иногда появлявшуюся на ее губах.

— Я не боюсь, — ответила она невозмутимо. — Добраться сюда вы можете, только переплыв заводь, а к тому времени меня тут уже не будет. И вы меня не разыщете.

— Лукиан с самого начала утверждал, что ты нимфа.

— А я подумала, что ты Пан. Как смешно!

Она снова села и принялась расчесывать черные кудри, которые влажно блестели, словно она только что купалась. Ее хитон цвета зеленых яблок был не очень новый, да к тому же несколько пострадал от близкого знакомства с колючим кустарником.

— Нам пора домой, — буркнул Лукиан. — Уже поздно, и я голоден...

— Голоден? Ах, бедняжка! — прозвенел насмешливый голосок. — Вот тебе смока, лови! — Раздался всплеск, и по середине реки пошли круги. — Ну вот! Какая же я неуклюжая! Ну, ничего, смокв у меня еще много, но бросать их я больше, пожалуй, не буду. Идите сюда, если хотите. Я ведь вам сейчас соврала — сюда очень просто добраться вон по тем камням.

Через минуту они уже сидели рядом с ней и с удовольствием жевали смоквы. Алексид решил, что она их ровесница или, может быть, моложе не год, но, уж во всяком случае, не старше. Она была стройна, и тонкие черты ее лица как-то не вязались с грубою речью. Она сказала, что ее зовут Коринна и что она приехала в Афины совсем недавно. А до этого ей немало пришлось по странствовать по свету. Она жила в Сиракузах на острове Сицилии, а прежде — в галльской Массилии.

— Но мать всегда хотела вернуться сюда, — пояснила она.

— Вернуться? — заинтересовался Алексид. — Но ведь вы же не афинские граждане.

— Нет, конечно. Одним только богам известно, кто мы такие. Но я родилась в Афинах, только мы уехали отсюда, когда я была еще совсем маленькой.

— Она из семьи метеков [18], — заметил Лукиан. — Это ясно.

— И все-таки, — спросил Алексид, не обращая внимания на слова приятеля, — ты, наверно, была очень рада поселиться в Афинах.

— Теперь уже не рада, — ответила загадочная девушка. — Я их ненавижу.

— Что?!

Оба друга привскочили и с ужасом уставились на нее. Она ненавидит Афины! И как только земля не расступилась и не поглотила ее!

— Я повидала немало городов и могу сказать одно: такой вони, как в Афинах, нигде нет. Улицы узенькие, грязные, а уж до того кривые, что чудится, будто ты в лабиринт угодила! Вот Пирей совсем другое дело! Улицы широкие и такие прямые...

— ...как кухонные вертела! — негодующе фыркнул Алексид. — Что ж, Пирей, конечно, красив и совсем новый — кстати сказать, его построили Афины, — но ведь это всего только наш порт. Он не овеян святостью старины, как сам город.

— А ты была на Акрополе? — грозно спросил Лукиан.

— Пока еще нет. Мать обещала сводить меня туда. Да ей все некогда. Я думаю, ей просто не хочется тащиться вверх по всем этим ступенькам.

— Нет, ты непременно поднимись на Акрополь, — потребовал Алексид. — Во всей Греции нет храма, равного Парменону.

— А внутри него, — добавил Лукиан, — стоит статуя Афины, еще выше, чем бронзовая

снаружи...

— В тридцать локтей! — подтвердил Алексид.

— Одежда на ней из чистого золота...

— А руки и лицо выложены пластинками из слоновой кости...

— Я очень хочу ее посмотреть, — заверила их Коринна. — И я там побываю, даже если мать так и не выберется туда со мной. Но Афины я ненавижу и еще по одной причине...

— По какой же? — спросил Алексид, готовясь защищать свой любимый город.

— У девушек здесь нет никакой свободы.

— Свободы? — возмущенно повторил Лукиан. — У девушек?!

— А что тут такого? — спокойно возразила Коринна. — В других греческих городах девушкам живется куда веселее. Они принимают участие в состязаниях...

— Ты что же, стоишь за спартанцев? — спросил Лукиан.

Она бросила на него презрительный взгляд.

— По-твоему, только спартанские девушки состязаются в ловкости? Аргивянкам это тоже разрешено, а на Хиосе они даже занимаются борьбой...

— Неужели ты тоже хочешь бороться? — спросил Алексид, с насмешливым недоумением поднимая брови. Он представил себе, как тоненькая Коринна схватилась с мускулистой соперницей.

— Нет, не хочу. Да и не в атлетических состязаниях тут дело. В других городах женщин не держат под замком. Они принимают участие во всем, даже пишут стихи, если им хочется, и мужчины разговаривают с ними как с равными, а не так, словно они и не люди вовсе!

Лукиан презрительно сморщил свой красивый нос.

— Такие женщины есть и в Афинах, — сказал он. — Но только не в порядочных семьях. И не в афинских, а в метекских. Ни один афинянин не может взять себе такую жену, даже если бы и захотел, — закон запрещает нам жениться на чужестранках. Мой отец говорит...

— Да, кстати, об отцах, — перебил Алексид, которому вовсе не были интересны бесконечные поучения отца Лукиана, потому что он не раз слышал то же самое от своего. — А как твой отец смотрит на то, что ты одна бродишь по лесам? Если бы моя сестра выкинула такую штуку...

— У меня нет отца. Он, кажется, умер, когда я была совсем маленькой.

Мать содержит харчевню — она повариха, каких поискать. Мы снимаем харчевню совсем рядом с рыночной площадью, как раз там, где улица поворачивает к Акрополю.

— А, знаю. Я живу поблизости.

Наступило неловкое молчание. Конечно, они сразу поняли, что Коринна не благовоспитанная девушка из почтенной афинской семьи. Но дочка содержательницы харчевни — это было уж слишком! Ни один приличный человек не позволит себе даже зайти в харчевню. А жить в харчевне, быть дочерью женщины, которая там стряпает!.. Лукиан снова поморщился и ничего не сказал.

— Мне там не очень нравится, — откровенно сказала Коринна, — и, когда могу, я убегаю, чтобы побродить на воле. Мать не обращает на это внимания. Иногда, правда, она спохватывается и начинает меня пилить, но обычно ей не до того. Я часто сюда прихожу. У меня тут есть тайник. Хотите посмотреть?

— Конечно, — ответил Алексид.

— Тогда дайте торжественную клятву: Поклянитесь Землей и Океаном, что никому не расскажете.

Они поклялись. Судя по лицу Лукиана, Коринна могла бы и не требовать от него клятвы. У него и так не было ни малейшего желания рассказывать кому-нибудь, что он познакомился с дочерью содержательницы харчевни. Коринна повернулась и, взбежав по наклонной скале, исчезла в чаще. Исчезла, словно ее тут и не было. Ее зеленый хитон слился

с листвой, и разве можно было различить, где мелькают ее лицо и руки, а где пляшут солнечные зайчики?

— Сюда! — крикнула она.

Они последовали за ней в заросли.

— Идите же! — вновь позвала Коринна, когда они в нерешительности остановились.

И вот, перебравшись через невысокий гребень, они оказались в небольшой круглой впадине. Алексид сразу понял, что она создана не природой. Эту впадину в каменистом склоне сделали люди, но так давно, что она уже вся густо поросла кустами. Это была старая каменоломня. Под тонким слоем красной глинистой почвы просвечивал мрамор — лиловатый мрамор, такой же, как на холме Акрополя, мрамор, благодаря которому Афины получили свое самое прекрасное прозвище — «Город в фиалковом венце».

Коринна повела их дальше по дну каменоломни, через море цветущей сирени и олеандров, которые вот-вот должны были покрыться белыми, розовыми и красными цветами. По уступам утеса сбегал сверкающий ручеек. И вдруг Коринна снова исчезла. Они сделали еще несколько шагов, раздвигая ветки и осматриваясь. Ясные, холодные и насмешливые переливы флейты заставили их обернуться и взглянуть вверх, на каменный обрыв.

— Сюда! — раздался голос Коринны. — Ногу надо поставить вот сюда, на развилику. Это просто, как по лесенке!

Даже Лукиан, который влез последним, должен был признать, что ее убежище — настоящий тайник. Это была расселина на высоте человеческого роста, совершенно скрытая верхушкой сиреневого куста. Стоя там плечом к плечу и стараясь отдохнуть, они вдруг увидели в просветах между пышными кистями сирени зеленую равнину, белый город и море вдалеке.

— Тесновато, конечно, — сказала Коринна, — но ведь раньше меня тут никто не навещал. — Она отступила в глубину расселины. — Дальше становится просторнее. Там настоящая пещера.

— Теперь я понимаю, — с восхищением сказал Алексид, — почему ты была так уверена, что легко спрячешься от нас. Тут мы тебя ни за что не отыскали бы.

— Пещера как будто длинная, — сказал Лукиан. — Надо будет прийти сюда с факелами и посмотреть, куда она ведет.

— Не советую, — заметила Корина. — У меня здесь есть светильник — только масло я уже, кажется, все сожгла. Один раз я зашла довольно далеко, но это опасно.

— Опасно?

— В одном месте потолок обрушился. А вдруг, когда вы туда заберетесь, случится новый обвал? Мне это было бы неприятно.

— Да и Лукиану тоже, — заметил Алексид. — А мне хорошо и в этой превратницкой. Тут совсем не душно, а вид на море, хотя и несколько ограниченный, очарователен.

Она рассмеялась своим почти беззвучным смехом:

— Ты так забавно говоришь, Алексид! Мне это нравится.

— Если хочешь, я научу тебя говорить так же забавно, — предложил он невозмутимо.

— То есть на хорошем аттическом наречии: ведь наречие Афин — самое чистое в Греции.

Она мотнула головой.

— А на что мне это? Вот если бы ты научил меня получше читать и писать...

— А разве ты не умеешь? Ну конечно, раз твоя мать... э... всегда так занята...

— Я многому сама научилась. Я знаю буквы и могу вести счета, но мне бы хотелось уметь читать по настоящему.

— Я тебя научу, — обещал он. — Но только с одним условием.

— С каким же? — Доверчивое выражение исчезло из ее глаз.

— Чтобы ты научила меня играть на флейте.

— Попробую.

— Мне давно этого хочется. У нас, знаешь ли, не принято играть на флейтах. В театре, конечно, играют, и музыканты на пирах тоже, но благородным мужам это занятие не пристало. Флейта слишком уж чувствительна, а кроме того, надувая щеки, трудно сохранять надлежащее достоинство...

— Глупость какая! — перебила она.

— Послушай, — вмешался Лукиан, — уже очень поздно. Нам надо торопиться.

Алексид посмотрел на Коринну:

— Ты пойдешь с нами?

— Нет, я еще побуду здесь. Я не хочу возвращаться домой до ночи. Ты обо мне не беспокойся.

— Хорошо. — Лукиан уже спустился на землю, и Алексид спрыгнул за ним.

— Не забудь, что ты обещала научить меня играть на флейте.

Когда среди удлиняющихся вечерних теней они устало бели по обсаженной тополями дороге, Лукиан сказал:

— Ты, конечно, пошутил? Было бы неплохо слазить туда еще раз, если бы знать заранее, что ее там нет, но ведь ты же не хочешь в самом деле видеться с ней!

— А почему?

— Как «почему», Алексид? Она же чужестранка, живет в грязной харчевне! Мне она показалась ужасной! Просто уличная девчонка, и я никак не ждал...

Не ждал Лукиан и звонкой пощечины, от которой левая щека его побагровела. Спустя мгновение друзья до гроба уже катались в пыли дороги и яростно колотили друг друга.

Глава 5

СКАЧКИ С ФАКЕЛАМИ

— Скажи: «Я очень сожалею»... — Лукиан, еле переведя дух, уселся на грудь приятеля.

Алексид перестал вырываться. В короткой схватке он сразу растратил весь свой гнев, и к нему вернулось обычное чувство юмора.

— Я очень-очень сожалею, — с трудом выговорил он, — что ты сидишь у меня на животе.

— Нет, ты скажи, что сожалеешь, что ударил меня.

— Ну, поскольку это и есть причина, которая привела к вышеупомянутому следствию, — пустился в рассуждения Алексид, — то раз я сожалею о следствии, значит, из этого логически вытекает, что я...

— Да замолчи же! Ты, наверно, будешь философствовать, даже если тебя повесят за ноги. Ты сожалеешь, что ударил меня по лицу? Да или нет?

— Ну, с одной стороны...

— Да или нет? — настаивал Лукиан. — А я пока поупражняюсь к скачкам с факелами.

Оба они через несколько дней должны были участвовать в конных состязаниях юношей. Упражнения Лукиана заключались в том, что он принялся подпрыгивать на животе приятеля, всем весом придавливая его к земле.

— Да-а! — пропыхтел Алексид после третьего скачка.

Лукиан отпустил его, и оба поднялись на ноги.

— Однако, — тут же продолжал Алексид, — отсюда, мой друг, следует только одно: ты сильнее меня, а это мы знали и раньше.

Лукиан теперь благоразумно избегал упоминаний о Коринне, но, когда они снова побрали по дороге навстречу закату, он высказал все, что думал о женщинах.

— Конечно, мужчине рано или поздно следует обзавестись семьей, но вообще-то от женщин нет никакого толку. Мой отец говорит, что жениться следует в тридцать лет, а до тех пор у человека хватает и других занятий — атлетические состязания, военная служба, друзья. Отец говорит, что дружба — самое главное в жизни. А с женщинами дружить нельзя, — они не умеют разговаривать об отвлеченных предметах...

Вспомнив Коринну, Алексид усомнился в этом.

— Ну конечно, — пробормотал он.

Но Лукиан не заметил легкой иронии в его тоне. Он продолжал рассуждать, а Алексид продолжал отделяться ничего не значащими ответами, и так они продолжали путь. Солнце, почти касавшееся земли, расцветило золотом и багрянцем всю западную часть небосклона, и на этом пылающем фоне над крышами города лиловой тенью вздымался Акрополь.

Возможно, отец Лукиана был прав, утверждая, что дружба — самое главное в жизни. Большинство афинян — и мужчин и юношей — согласились бы с ним. Но дружбе Лукиана с Алексидом, хотя они не признались бы в этом даже самим себе, был нанесен тяжелый удар.

Скачки с факелами не поправили дела. Такие скачки с подставами для молодых наездников устраивались впервые. Состязание в беге с передачей факела было старинным обычаем. Но всего два года назад кому-то пришло в голову учредить такие же конные состязания. После этого юноши, тоже состязавшиеся в беге с факелом, потребовали, чтобы им и тут было дозволено подражать мужчинам.

Скачка юношей с факелами занимала главное место в вечерних состязаниях в день Посейдоний. Ведь Посейдон был не только повелителем моря — это он создал лошадь и подарил ее людям, это он научил людей пользоваться уздечкой и в неведомом году далекой старины учредил первые конные состязания.

Как обычно, состязалось десять партий — по одной от каждой филы[19]. Лукиан и Алексид выступали за Леонтиду. Участие в этих состязаниях было не такой уж честью, они устраивались впервые, и молодых наездников отбирали не по их личным достоинствам. Собственно говоря, участвовать в нем мог всякий, кому удалось раздобыть коня, — впрочем, это было делом нелегким, потому что лошадей в Афинах было мало. Однако богатый дядя Лукиана одолжил ему двух скакунов, и поэтому юноша без всякого труда добился, чтобы его и Алексида включили в число восьми наездников, которым предстояло везти факел Леонтиды.

— Молния получила свою кличку заслуженно, — сказал Лукиан Алексиду. Она удивительно резва. Дядя привез ее из Фессалии, а там знают толк в лошадях. Но и Звезда тоже очень хороша.

— Когда мы их пробовали, мне Звезда понравилась.

— Я, правда, хотел, чтобы ты взял Молнию. Но дядя говорит, что раз я к ней привык... да и к тому же я тяжелее тебя...

— Ну конечно. Он и так очень добр, что доверил мне Звезду.

— Я знал, что ты не обидешься. Послушай, Алексид, быстро передать факел не так-то легко. Нам следовало бы поупражняться. Мы можем брать лошадей каждый вечер — как ты думаешь?

Лукиан так загорелся этой мыслью, что Алексид не мог сказать «нет». Впрочем, эти упражнения прохладными вечерами были даже приятны. Ему нравился короткий бешеный галоп до места передачи факела, и тот исполненный волнения миг, когда они скакали колено к колену и передавали друг другу палку, изображающую факел. Но на это требовалось время, а он был теперь очень занят.

Каждое утро он проводил несколько часов у софиста Милона, занимавшегося с ним ораторским искусством, иначе говоря — грамматикой, логикой, постановкой голоса и

жестикуляцией. Он должен был заучивать множество полезных цитат и остроумных оборотов речи, а так же упражняться в подборе доводов, которые выглядели бы убедительными независимо от того, соответствуют они истине или нет. «Всегда держите в уме, с кем вы разговариваете, — с хитрой улыбкой наставлял Милон своих учеников. — Богачам говорите одно, а беднякам — другое. Доводы, которые скорее всего убедят молодежь, не стоит пускать в ход для убеждения стариков. И наоборот». Алексид любил искусство спора, но то, чему учил его Милон, казалось фальшивым и нечестным. К тому же он вовсе не мечтал блестать на ораторском поприще. Тем не менее он продолжал послушно посещать уроки Милона и готовить задаваемые ему упражнения. А так как остальную часть дня ему приходилось проводить в гимнасии или в палестре[20], у него совсем не оставалось свободного времени для себя — чтобы читать или записывать слагавшиеся в голове стихи. И вот, возвращаясь домой после их третьей поездки, он сказал:

— Лукиан, я хотел бы пропустить завтрашний вечер.
— Но ведь до скачек осталось всего три дня!
— Я знаю. Но достаточно будет поупражняться еще только один раз.
— Глупо погубить корабль, пожалев на него смолу! — проворчал Лукиан.
— Что ни говори, а совершенство достигается упражнением.
— Излишek упражнений тоже может испортить дело. Они надоедают.
— Ах, тебе надоело! Мне очень жаль, конечно.

— Я говорил о лошадях. — Алексид действительно думал о них. — Они уже все отлично поняли, и, по-моему, для них только вредно снова и снова повторять одно и то же. Мне-то самому это очень нравится, но просто я должен найти время и для других дел.

— Каких же это дел? — Лукиан говорил с таким раздражением, что Алексид заколебался, прежде чем ему ответить, но Лукиан истолковал его молчание по-своему. — Можешь ничего не объяснять! Догадаться нетрудно: та девчонка, которую мы встретили...

Алексид удивленно посмотрел на него. Да, конечно, он еще не забыл Коринны. И не раз думал о ней. Она ему понравилась, ему было с ней весело, да и ее необычные взгляды заинтересовали его. Он даже посматривал, не увидит ли ее, когда проходил мимо харчевни ее матери или ближайшего общественного источника, у которого всегда толпились женщины с соседних улиц, — конечно, те, в чьих домах не было собственного колодца. Но он с ней так и не встретился, да и не искал этой встречи. Он и без того был слишком занят.

Если бы не злые слова Лукиана, он сказал бы ему всю правду: ему удалось достать трагедию «Медея», и теперь он хотел скорее прочесть заветный свиток[21] в каком-нибудь спокойном уголке, где ему никто не помешает, а потом попробовать самому написать строфы хора в манере Еврипида. В этом последнем он решился бы признаться только своему лучшему другу. Однако теперь он заметил недоверие в глазах Лукиана, и гордость помешала сказать об этом даже ему.

— Неужели я не могу даже час провести как хочу, не докладывая тебе?
— О, сколько угодно! Прощай. Увидимся на празднике.

Они больше не выезжали по вечерам, и, хотя встречались каждый день в гимнасии, Лукиан делал вид, будто не замечает Алексида, и весело болтал с другими юношами.

У Алексида оказалось три свободных вечера, но они принесли меньше радости, чем он ожидал. Он два раза прочел «Медею» и выучил наизусть особенно понравившиеся ему места, а потом начал писать собственную трагедию про Патрокла и Ахилла. Он изливал в ней свои оскорбленные чувства, и это помогло, но не очень. И вот настал вечер скачек.

Путь, на котором располагались подставы, имел приблизительно форму ромба. Он начинался от маленького святилища Посейдона на берегу Филерского залива, далее следовал почти прямо на север до Длинных Стен, соединявших Афины с Пиреем, а оттуда уходил на запад, к Итонским воротам, где поворачивал опять на юг. Там Алексид — пятая

подстава — должен был принять факел, и отвезти его на шесть стадиев по Фолерской дороге и предать Лукиану, после которого еще двое юношей, постарше, доставят его к святилищу морского бога.

Скачки были назначены на час заката, когда факелы будут уже видны, но сумерки не настолько сгустятся, чтобы сделать опасной быструю езду. Самые заинтересованные зрители — любители лошадей, родственники и друзья участников — расположились вдоль намеченного пути и возле святилища, чтобы видеть начало и конец скачек. Однако большинство предпочло не ходить дальше ближайшей к городу подставы, и перед закатом у Итонских ворот собралась большая толпа. Зрители влезали на стену, откуда можно было увидеть вдалеке, среди кипарисов, крышу святилища, а некоторые выходили на дорогу, чтобы получше разглядеть лошадей.

Алексид стоял рядом со Звездой и, поглаживая светлое пятнышко на ее каштановой морде, горько сетовал про себя, что ему досталась именно эта подставка, где придется брать факел под взыскательными взглядами чуть ли не всего города. Хорошо еще, что тут нет отца! Впрочем, разница не велика. Они с Теоном хотели посмотреть и Лукиана и поэтому отправились к следующей подставе. Но все остальные родные и знакомые собрались у Итонских ворот. Был тут и Гиппий. Ничего удивительного — где скачки, там и он. Молодой эвпатрид с видом знатока прохаживался среди участников состязания, иногда поднимая ногу лошади, чтобы осмотреть копыто, иногда задавая вопрос о родословной того или иного скакуна.

Алексид заметил, что Гиппий направляется в его сторону, и весь подобрался. Гиппий, щеголявший в этот вечер в серебристо-сером плаще и алых сапожках, подошел к кобыле с другого бока и уверенно, словно хозяин, потрепал ее по крупу холеной белой рукой.

Правда ли, что лошади умеют разбираться в людях? Лукиан, во всяком случае, любил это повторять. Но тогда Звезде следовало бы прижать уши и оскалить зубы. Ничего подобного! Наоборот, ей понравилась эта ласка, и она тихонько потерлась носом о руку того, кто ее гладил. Нет, лошади — плохие судьи человеческих характеров, подумал Алексид.

— Недурная кобылка... — снисходительно начал Гиппий и умолк, узнав юношу, державшего ее уздечку.

Алексид отлично понял, что он имел в виду. Самые богатые граждане отбывали военную службу в коннице, поставляя для этого собственных лошадей. Во время публичных церемоний они занимали почетные места и считали себя избранным сословием. Если бы дать волю Гиппию, в скачках с факелами участвовали бы только сыновья этих богачей.

Солнце уже спряталось за темный кряж Элагея. В небе угасли пурпурные и золотые краски. Оно медленно становилось бледно-зеленым, и вот уже в вышине замерцала первая звездочка. Скоро труба подаст сигнал к началу скачек. Он не должен думать ни о чем другом. Надо забыть Гиппия и его презрительные насмешки. И надо проехать как можно лучше, чтобы показать Гиппию, что хорошим наездником человека делают не предки и не богатство.

— Ну, милая, пора!.. Тише, тише, милая! — ласково шепнул он кобыле.

Кто-то подставил ему колено, и вот он уже сидит на квадратной попоне, заменяющей седло, и легонько постукивает пятками по бокам Звезды, чтобы она вышла на дорогу.

— Расступитесь! Расступитесь! — кричали распорядители.

Но никто не обращал на них внимания. Вот когда вдали раздастся трубный сигнал и в сумерках замелькают огненные пятна, тогда и наступит время очистить дорогу. И десять растерянных юношей, почти еще мальчиков, сидели на своих лошадях в самой гуще шумной, колышущейся толпы.

Вдруг Алексид совсем рядом опять увидел Гиппия, вернее — его спину.

Он что-то говорил, но не визгливо и напыщенно, как обычно, а вполголоса. Если всегда

он говорил так, словно ему было безразлично, что его слышит весь мир, или, вернее, так, словно хотел облагодетельствовать своими речами как можно больше слушателей, то теперь он почти шептал, и Алексиду удалось уловить только один загадочный обрывок фразы:

— ...чрезвычайно опасно!

Сначала Алексид решил было, что Гиппий говорит о скачках. Кое-кто из отцов высказывал мнение, что неопытным юнцам не следовало бы позволять мчаться в темноте по полям сломя голову. Но ведь у Гиппия нет сына. Или, может быть, он одолжил другу ценную лошадь, а теперь боится за нее? Однако ответ человека, к которому обращался молодой щеголь, показал Алексиду, что и это его предположение неверно.

— В подобных случаях приходится пренебрегать опасностью. Да в сумерках она не так уж велика, а с каждым мгновением становится все темнее.

Как же так — чем темнее, тем безопаснее? Алексид навострил уши, но больше ему ничего не удалось услышать. Какие странные слова! И еще одна вещь, не менее странная: на собеседнике Гиппия была широкополая пастушеская шляпа, надвинутая на самые глаза. Какой благородный афинянин надел бы такую шляпу? Да и любую шляпу, если день погожий, а он не отправляется в дальнюю поездку. Однако речь незнакомца выдавала в нем человека образованного, да и Гиппий никогда не стал бы обходиться так почтительно с простым пастухом.

Может быть, они задумали каким-то образом помешать честной борьбе на скачках?

Но Алексид тут же отбросил эту мысль. Гиппий, конечно, не побрезгует никаким обманом, лишь бы выиграть состязание, и, возможно, он захочет, чтобы скачку выиграла его фила, хотя этим состязаниям никто не придает большого значения. Но, когда состязаются все десять фил и бежит восемьдесят лошадей, каким способом, пусть даже самым подлым, может он обеспечить победу своим? Тем не менее Алексид решил после начала скачек не спускать глаз с Гиппия и его собеседника.

Тут над темными полями пронесся далекий звук трубы. Толпа зашумела.

— С дороги! — кричали распорядители, размахивая жезлами.

— Вон, вон они! — раздавались голоса зрителей, примостившихся на стенах. — Глядите, факелы!

Вскоре даже те, кто стоял у дороги, тоже увидели, как в темной дали замелькали огненные точки. То и дело, какая-нибудь из них на мгновение исчезала за группой деревьев или в ложбине, порой две-три сливались в одну пылающую комету, тут же вновь распадавшуюся, когда всадники вырывались вперед или, наоборот, отставали, а иногда вдруг огненное пятнышко замедляло движение, и наблюдатели догадывались, что факел переходит из рук в руки на подставе.

— Отойдите! — упрашивали распорядители. — Дайте же им место, очистите дорогу!

Передние всадники уже миновали первый поворот и теперь скакали прямо к Итонским воротам. Факелы становились все больше и ярче, но онисливались в один пляшущий клубок, и невозможно было различить, кто впереди. Теперь наконец на дороге остались только участники состязания, а толпа расположилась за канавой — смутно белеющая масса лиц и одежд.

— Вот они! — выкрикнул кто-то на стене.

Наступила тишина — все затаив дыхание ждали, что прокричит головной всадник. Уже был слышен нарастающий стук копыт. И тут раздался крик торжествующий крик юноши, ведущего скачку:

— Акамантида!

Толпа зашумела — одни досадовали, другие радовались, а следующий всадник филы Акамантиды выехал вперед, готовясь принять факел. Остальные юноши застыли, полные

нетерпения и беспокойства. Мучительно было ждать, какое название будет выкрикнуто вторым, и гнать от себя опасение, что шум толпы заглушит голос товарища.

Вот и первый всадник; летящая галопом лошадь кажется черной тенью, но голова и плечи юноши озарены золотым светом факела, который он держит в высоко поднятой левой руке. Последнюю сотню шагов ему пришлось скакать под самой городской стеной, где зрители отчаянно вопили и размахивали руками. На время даже самые почтенные мужи забыли о необходимости соблюдать достоинство.

— Сюда! — закричал его товарищ. — Акамантида тут!

Когда факел переходил из одной руки в другую, его пляшущее пламя на мгновение озарило толпу у ворот. Красные отблески легли на шелковистую шерсть холеных коней, на вскинутые руки, вырвавшиеся из тьмы сверкающие волнением глаза и разинутые рты, издававшие ликующие вопли.

И в этот миг Алексид успел разглядеть незнакомца, стоявшего рядом с Гиппием. У него было необычное, легко запоминающееся лицо с крючковатым носом. Даже борода не могла скрыть властный, тяжелый подбородок, высокие скулы...

Незнакомец быстро наклонил голову, и тень от широких полей пастушеской шляпы скрыла его лицо, но озаривший все это факел уже плясал, удаляясь по Фалерской дороге. Вздрогнув, Алексид опомнился; к нему неслись следующие двое всадников, и он в смятении сообразил, что один из них выкрикивает название его филы. Он толкнул Звезду коленями и выдвинулся вперед:

— Леонтида тут!

Однако ближайший всадник, на два корпуса опередивший своего соперника, был из филы Пандиониды. Он вылетел из мрака на гнедом жеребце, четко передал факел и, резко повернув, осадил коня. К этому времени Алексид уже схватил свой факел, и Звезда помчалась вперед по дороге. Сзади замирал шум толпы.

Не так-то просто лететь в темноте отчаянным галопом, сжимая в вытянутой руке брызжащий смолой факел, когда вместо седла под тобой — кусок попоны, а на лошади — никакой сбруи, кроме уздечки. Правда, факел его соперника, скачущего впереди на серой кобыле, освещает все выбоины и ямы под ногами Звезды. Но что толку? Надо обогнать соперника, иначе Лукиан ему никогда не простит.

— Вперед, Звезда, вперед! — шепотом подбадривал он свою лошадь.

Подчиняясь прикосновению его колен, она ускорила бег. Серебристый хвост струился уже прямо перед ним. Он взял левее и стал понемногу обходить серую кобылу. Вот уже лошади идут голова в голову. Факелы рассыпают искры, и из-под копыт вместе с градом мелких камешков тоже летят искры. Вдруг убегающие назад черные стволы высоких тополей словно покачнулись — поворот, возникающие из тьмы и вновь пропадающие лица, крики, обрывающиеся на полуслове...

— Пандионида!

— Леонтида!

Внезапно Алексид понял, что его соперник тоже кричит, отвечая толпе. Впереди чернеет людская стена — да ведь это же подставка! Он еле-еле успел выкрикнуть название своей филы, Звезда сделала отчаянный рывок и опередила серую кобылу. Только тут Алексид заметил, что они почти нагнали первого всадника — тот только еще передавал факел в тридцати шагах от него.

— Леонтида тут! — Лукиан чуть не визжал от нетерпения.

Алексид поравнялся с ним, почти на два корпуса опередив соперника, но передал факел так неловко, что это небольшое преимущество было потеряно. Когда Лукиан поскакал, он уже отставал от Пандиониды на корпус.

— Не повезло! — сказал Леонт, хватая Звезду за уздечку и помогая сыну остановить

лошадь.

— Это я виноват! — воскликнул Алексид. — А мы еще столько упражнялись! Но я до того волновался...

Из темноты вышел раб. Алексид узнал в нем фессалийского конюха из усадьбы дяди Лукиана. Он спрыгнул со Звезды, ласково похлопал ее по холке и предал уздечку рабу. Он решил поскорее отыскать Лукиана и извиниться за то, что так неудачно передал ему факел. Как только десятый всадник проскакал мимо, Алексид зашагал вслед на ним по темной дороге. Вскоре он услышал крики — зрители сообщали друг другу результаты состязаний. Пандионида достигла святилища первой, а Леонтида — почти вслед за ней. В темноте навстречу Алексиду шли зрители, возвращавшиеся в город. Он услышал знакомые голоса и спросил, где Лукиан. Кто-то смущенно ответил:

— Кажется, он пошел другой дорогой.

— Ах, вот как! Спасибо, — ответил Алексид.

Он продолжал брести к Фалеру. Теперь это уже не имело смысла, но ему не хотелось возвращаться вместе с товарищами. Нет, лучше идти одному в теплом бархатном мраке и слушать, как по обеим сторонам дороги весело трещат кузнечики. «Впрочем, мне-то сейчас не до веселья», — подумал он тоскливо.

Глава 6

СТАТУЯ В МАСТЕРСКОЙ ВАЯТЕЛЯ

Алексид решил, что сразу же, с утра, повидает Лукиана и извинится за свою неуклюжесть. Жаль, конечно, что его друг принимает подобные мелочи близко к сердцу, но, с другой стороны, именно такие люди побеждают на войне и совершают иные славные деяния. Он подождал на улице, пока тот не вышел из дома, направляясь на занятия. Лукиан учился математике (никто не понимал зачем) у старого ученого, недавно приехавшего в Афины из Малой Азии.

— Послушай, — с запинкой начал Алексид, — мне очень жаль, что вчера так получилось.

— Пустяки, — холодно ответил Лукиан.

— Я развелся и...

— Забудь об этом. Перед такими состязаниями нужно много упражняться.

Если в будущем году фила опять выставит меня, я буду упражняться куда больше. Мой отец правильно говорит: «Если уж берешься за дело, так делай его хорошо».

— Да, конечно.

Алексид хотел помириться с другом и потому не произнес язвительных слов, которые уже вертелись у него на языке: раз отец Лукиана так любит пословицы, почему же он забывает излюбленную афинскую поговорку «Во всем нужна мера»?

— Я хочу сказать вот что, — продолжал Лукиан. — Каждый имеет право выбирать, что ему нравится. Либо человек относится к состязаниям серьезно, либо нет. А тот, кто предпочитает бегать за девчонками...

— Если ты это обо мне, то...

— В отличие от тебя, я не воображаю себя умником, но все-таки я не совсем дурак.

— Уверяю тебя...

— Лучше не стоит. Можешь не рассказывать мне о своих делах, я этого теперь и не могу, ни лгать мне тоже незачем. Видишь ли, они меня просто не интересуют.

И Лукиан ушел, торопясь скорее погрузиться в дебри математики, а Алексид остался стоять на углу, багровый от злости.

Если с человеком обходятся несправедливо, он начинает искать сочувствия. Много лет

они с Лукианом всегда были готовы поддержать друг друга в трудную минуту. Когда с одним из них случалась неприятность, то оба ворчали где-нибудь в углу: «Это нечестно... Просто подлость! Он к тебе придирается...». Сколько у них было таких разговоров! И теперь Алексид растерялся, не зная, кому излить свою обиду.

Вдруг его осенило: Коринна... С ней как будто можно разговаривать, и она умеет слушать. А кроме того, он поквитается с Лукианом. Раз он вбил себе в голову, что Алексид с ней видится, пусть так и будет.

Конечно, надо бы пойти к Милону и выслушать очередную порцию наставлений о ораторском искусстве... Алексид сердито фыркнул. Если уж он не сумел доказать своему лучшему другу, что говорит правду, то разве сумеет он когда-нибудь найти слова, которые убедили бы Народное собрание или присяжных? Другие ученики иногда пропускают занятия. Сегодня он последует их примеру.

Однако теперь, когда оставалось только найти Корину, им овладела робость. Он несколько раз прошел мимо знакомой харчевни, надеясь, что Коринна увидит его из окна. Харчевня, выкрашенная розовой и голубой краской, казалась чистенькой и нарядной. Алексид вспомнил разговоры о там, что в харчевнях всегда полно клопов, и теперь усомнился в этом. Он отправился к общественному источнику и долго слонялся около него, надеясь, что Коринна придет за водой. Но в конце концов он не выдержал шуточек и хихиканья женщин и девушек, которые наполняли кувшины под струей, вырывающейся из львиной пасти. Когда его в третий раз спросили, кого он тут поджидает, он решил, что лучше будет, если он сберется с духом и прямо спросит Коринну в харчевне.

Для этого и вправду требовалось сбраться с духом. Приличные люди редко заходили в харчевни. Во время дальних поездок они предпочитали останавливаться у знакомых. Если отец узнает, что он был в харчевне, ему не избежать хорошей нахлобучки. Размышляя об этом, Алексид не подумал, что его приход может поставить в неловкое положение и Коринну. Испуганно оглядевшись по сторонам, он юркнул в открытую дверь и оказался во внутреннем дворике. Там пахло чем-то очень вкусным. Вот такие ароматы, подумал он, наверно, вдыхают олимпийские боги в ожидании пиршества.

В дверях кухни появилась великанша с большой ложкой в руке. Она была высока и невероятно толста. Пылающее от кухонного жара лицо казалось очень добродушным, а заплывшие глазки посмеивались.

— Что скажешь, душечка? — спросила она голосом, который, наверно, разом усмирил бы бунт на корабле.

— Я ищу Коринну, — запинаясь, пробормотал он.

— Я сама только это и делаю все дни напролет. За девчонкой не уследишь — то она тут, то там, что твоя ящерица. Правда, сегодня я знаю, что она пошла к Кефалу.

— К ваятелю?

— Ну да, к нему. На улицу Каменщиков. Погоди-ка, — сказала она, исчезая в кухне и возвращаясь с лепешкой. — На-ка, попробуй, душечка.

— Спасибо.

Лепушка была прямо с жару — медовая лепешка с изюмом и толченым орехом. Упивая ее за обе щеки, он спросил:

— Скажи, пожалуйста, а ты мать Коринны?

— А то кто же? Звать меня Горго. И как ты догадался? — Она засияла кудахтающим смехом. — Дочка вся в меня, а?

— Нет, что ты! — сказал Алексид с невежливой поспешностью: между тоненькой девушкой и этой веселой толстухой не было ни малейшего сходства. — Я из-за лепешки. Коринна говорила, что ты удивительно хорошо стряпаешь. Горго, очень довольная, закивала седой головой.

— Меня называли лучшей поварихой в Сиракузах. А там это дело понимают, уж поверь мне. Тут у вас и есть-то толком не умеют... Хочешь еще?

— Нет, спасибо, мне пора идти.

— Ну, как хочешь. — Горго задержалась на пороге кухни. — Есть хорошая старая поговорка: «Не задавай вопросов, и ты не услышишь лжи». Вот и я так думаю. — И, снова весело закудахтав, она исчезла в полумраке.

«Интересно, употребляет ли эту поговорку отец Лукиана?» — подумал Алексид и решил, что если и употребляет, то, уж во всяком случае, не смеется при этом таким плутовским смехом и не подмигивает.

Он перешел рыночную площадь, это удивительное место, где (если у тебя, конечно, достаточно денег) можно купить все, что угодно, — от рыбы до флейты или даже рабыни-флейтистки. Хотя кому нужна собственная флейтистка? Для пира ее можно нанять вместе с танцовщицами. Впрочем, Алексида интересовали не товары, ему просто нравилось деловое и веселое оживление рынка. Ему нравилось смотреть, как торговцы рыбой шлепают о камень сверкающих рыб и как покупатели, толкая друг друга, бегут на звон колокола, возвещающего, что привезли свежий улов. Он с наслаждением прислушивался к спорам между торговками хлебом, которые то ругали друг друга на чем свет стоит, то начинали от души хохотать. Он любовался товаром зеленщиков: большими золотыми тыквами, пупырчатыми зелеными огурцами, морковью с перистыми хвостиками, лиловыми виноградными гроздьями, горами глянцевитых яблок и цветами — лилиями, розами, фиалками, нарциссами или гиацинтами, в зависимости от времени года. Алексид любил рынок, потому что он любил жизнь во всей ее полноте.

Но в это утро, опасаясь встречи с отцом или с каким-нибудь знакомым, который мог бы сообщить отцу, что он не пошел к Милону, Алексид постарался пройти через рынок как можно быстрее, держась в тени портика[22], который окружал площадь с четырех сторон. Вскоре он уже стучался в дверь ваятеля.

— Тут к вам должна была прийти девушка. Она еще здесь? — спросил он раб-привратника. — Ее зовут Коринна. Она дочь Горго, из харчевни...

— Ты, наверно, говоришь о натурщице, господин? Иди прямо через дворик. Она с хозяином в мастерской.

Отступать было поздно. А он ведь просто хотел узнать, здесь ли она, и подождать, пока она освободится. Но раб, кланяясь, уже ввел его во двор и закрыл входную дверь. Очевидно, Кефал принимал посетителей даже во время работы. «Да не съест же он меня, какой он там ни знаменитый», — сказал себе Алексид. И вот, расправив плечи и вспомнив, что он сын Леонта, известного атлета и славного воина, он вошел в мастерскую.

Она была очень невелика, и в ней царил величайший беспорядок — весь пол был усеян осколками мрамора и растоптанными комьями глины. Кефал работал и с камнем и с металлом, о чем свидетельствовали стоявшие у стен неоконченные статуи — одни из мрамора, другие из бронзы. В эту минуту он лепил. Это был невысокий лысый человек с седеющей бородой; его мускулистые руки были обнажены по самые плечи, а удивительные пальцы, казалось, жили сами по себе и обладали собственным умом — так уверенно и умело мяли они глину, придавая ей требуемую форму. Время от времени он останавливался и, наклонив голову набок, прищурившись, смотрел на девушку, стоявшую на возвышении.

На ней был короткий хитон с поясом, какие носят спартанские девушки.

Она словно бежала, ее рука сжимала лук, а голова была откинута, как будто Коринна что-то высматривала вдали.

— Артемида! — невольно воскликнул Алексид.

Коринна чуть вздрогнула, услышав его голос, но не обернулась. Она стояла как каменная.

Но Кефал оглянулся.

— Ничего, голубушка, — сказал он тонким щебечущим голосом. — Отдохни. Долго в таком положении никто не выстоит. — Наклонив голову к плечу, он прищурился и поглядел на Алексида. — Ну-ка, повернись боком. Гм!.. Да... Я, правда, не помню, чтобы я тебя звал. Но ты можешь пригодиться.

— Пригодиться? — растерянно переспросил Алексид.

— Как натурщик для Пана, если я захочу его изваять. А ты разве не потому пришел?

— Нет, нет! — Смеясь, Алексид объяснил причину своего прихода. — Но для меня будет большой честью, если ты когда-нибудь захочешь сделать мою статую. И мой отец, я думаю, скажет то же.

— Но это будет не твоя статуя, — поправил его Кефал. — Так же, как я сейчас леплю не Коринну, а, как ты отгадал, Артемиду-охотницу. Коринну же я избрал моделью, так как она больше остальных похожа на то, что мне нужно. Я это понял, едва увидел ее на улице. Но ты вовсе не совершенна, голубушка, — добавил он и погрозил пальцем девушке, которая, посмеиваясь, сидела на возвышении, — а богиня должна быть совершенной. У тебя не ее подбородок, но это не страшно — я знаю, у какой девушки взять нужный мне подбородок. А твои уши и вовсе не подходят для Артемиды. Мне придется взять уши у Лисиллы или у Гилы.

Коринна засмеялась своим беззвучным смехом и притворилась обиженной:

— Если мое лицо никуда не годится, так почему ты не попросил кого-нибудь из них позировать для всей статуи?

— Посмотрела бы ты на них, голубушка! Попробовала бы ты себе представить, как они бегут по горам со сворой гончих! Нет, несмотря на все твои недостатки, ты именно то, что мне нужно.

— И на этом спасибо, — с насмешливым смирением откликнулась она.

— Ну, на сегодня достаточно. Ты, наверно, устала, да и мне пора на рынок. Да, да, юноша, — продолжал он, поворачиваясь к Алексиду, который рассматривал статуи у стен, — это одно из моих лучших творений. Ее должны были поставить на городской площади, но, как видишь, она так и стоит в моей мастерской с тех самых пор, как я много лет назад ее кончил.

— А кого она изображает? — В голосе Алексида было волнение, но он разглядывал статую, и они не видели выражения его глаз.

— Эвпатрида Магнета. Его изгнали, как ты, может быть, помнишь. Говорят, он тайно просил помощи у спартанцев, чтобы уничтожить демократию и установить тиранию.

— Тиранию? В Афинах?

— После этого, разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы почтить его статуей. Да и глупо, конечно, — какая уж там статуя, когда он сам не может сюда носа показать под страхом смерти.

— Он мне не нравится, — откровенно сказала Коринна, разглядывая лицо статуи. — А почему ты хранишь ее?

— Никто не знает будущего, голубушка. У Магнета есть немало могущественных друзей среди эвпатридов. В политике всякое случается. Сегодня тебя свалили, а завтра, глядишь, ты опять наверху. Кто знает, Магнет еще может стать тираном в Афинах, и каково тогда придется мне, если она узнает, что я выбросил его статую, как негодный мусор?

Алексид вышел из мастерской молча. Он напряженно думал. Этот тяжелый подбородок, крючковатый нос и высокие скулы он видел вчера под полями пастушеской шляпы. Лицо статуи было лицом человека, который шептался с Гиппием.

Глава 7

ОВОД

— А я-то думала, что ты пришел поговорить со мной! — пожаловалась Коринна, но уголки ее рта лукаво задергались.

Ведь мы уже прошли всю улицу, а ты еще не сказал ни слова. Куда веселее болтать со статуей!

— Извини. Меня словно оглушило... — Алексид заколебался, но потом сказал решительно:

— Дело вот в чем. Этот Магнет... ну, тот, который хотел стать тираном...

— Ах, тот! С таким ужасным лицом!

— Да. Так я готов поклясться, что видел его вчера вечером у Итонских ворот во время скачек.

— Ну и что?

— Да разве ты не понимаешь? Ты ведь слышала, что говорил Кефал: его же много лет назад изгнали из Афин.

— Разве? — Коринна, очевидно, не слишком внимательно слушала разговор в мастерской, но тут и она сообразила, в чем дело, и взволнованно воскликнула:

— А! Так что же он здесь делал?

— Я сам хотел бы это знать, — угрюмо отозвался Алексид. — Просто не представляю, как мне быть.

— Посоветуйся с отцом.

— Гм!.. А как я объясню ему, зачем мне понадобилось заходить в мастерскую Кефала?

— Да, отец не похвалит тебя за знакомство со мной.

— Видишь ли...

— Не оправдывайся. Афинским юношам не положено водиться с девушками.

Вот почему я чуть не свалилась с возвышения, когда ты вошел в мастерскую. По правде говоря, я очень обрадовалась, услышав твой голос, — я ведь ни с кем не разговаривала по настояющему с того дня в пещере. Да, кстати, как поживает твой красивый друг?

— Он не очень-то мной довolen, — с принужденным смехом ответил Алексид. — Ему наступили на его красивую ногу — во всяком случае, так он думает.

— Кто же?

— Ты.

— Я?!

— Да. Видишь ли, мы очень давно дружим. Но только... ну, ты понимаешь... нельзя же все время быть с человеком, даже если очень его любишь. Иногда хочется побывать одному... Ты ведь знаешь, как это бывает, правда?

Она кивнула:

— Ты видел, куда я ухожу в таких случаях.

— Так вот, Лукиан этого не понимает. Он не любит читать и размышлять... всему предпочитает атлетические упражнения, прогулки, верховую езду и обижается, если другие хотят чего-то другого.

— Но при чем тут я?

— При том, что стоит мне заняться своими делами, как он воображает, будто я провожу это время с тобой, будто мне приятнее быть с тобой, чем с ним...

— Какая глупость! — кротко поддакнула она.

— Чистейшая нелепость! — подхватил Алексид с большим жаром, хотя и не слишком тактично. — Я поклялся ему, что не видел тебя с того самого первого дня, но он так озлился, что не поверил мне. Ну, я и подумал: раз так, пусть у него будет причина злиться, и...

— И пошел ко мне?

— И пошел к тебе.

Она остановилась как вкопанная и повернулась к нему. Щеки ее пылали, в серых глазах сверкал гнев.

— Спасибо за откровенность! Я знаю, что афинских девушек и за людей не считают, но над собой я не позволю издеваться. Значит, ты пришел, чтобы позлить его, а я только так... вот так хватают игрушку, чтобы подразнить ребенка...

— О боги! — воскликнул Алексид с отчаянием. — Я совсем не потому. Никто не хочет ничего понимать!

— Ну, так постараемся понять друг друга. Если мы станем друзьями, то потому, что хотим этого, а не потому, что нам надо кому-то досадить.

— Конечно...

— И ты не станешь задирать нос только потому, что я девушка и чужестранка, а мать содержит харчевню?

— Нет, — твердо сказал Алексид. — Но и ты должна дать обещание.

— Какое?

— Не ругать Афины. Раз ты живешь в городе, нечестно говорить о нем плохо.

Коринна, помедлив, кивнула. Румянец гнева сбежал с ее щек, и, когда она снова посмотрела на Алексида, в ее взгляде было уважение.

— Обещаю. Человек должен стоять за свой родной город. Если бы ты за него не заступился, я стала бы думать о тебе хуже. Я не буду ругать Афины, но, — тут она беззвучно засмеялась, — можно мне высказывать справедливые замечания? Ведь в Афинах превыше всего ценят свободу речи!

— Ты уже начинаешь кое-что понимать! — весело улыбнулся Алексид. — Поживи тут годик-другой, и ты станешь настоящей афинянкой.

Но, говоря это, он знал, что его предсказание никогда не сбудется.

Хотя Коринна и родилась в Афинах, она чужестранка и навсегда ею останется. Метеку почти невозможно добиться афинского гражданства, а ведь она же еще и женщина! Закон запрещает ей даже брак с афинским гражданином.

Они пошли дальше. Прохожие оглядывались на них. На следующем перекрестке, где было гораздо многолюднее и уже слышался шум рынка, Коринна сказала:

— Тут нам лучше проститься. Я знаю, тебе неловко идти со мной...

— Ну, что ты...

— Будем честны — или нашему знакомству конец. Таковы здешние обычай.

Я не хочу, чтобы из-за меня твой отец рассердился на тебя. И я не хочу, чтобы ты скорилась из-за меня с Лукианом. Обещай, что ты с ним помиришься и не будешь обижаться на него по пустякам.

— Ладно. Но я хочу дружить и с тобой!

— Тогда приходи завтра в пещеру. Сможешь? Я буду учить тебя играть на флейте.

— Обязательно приду.

На углу они расстались, и Алексид долго смотрел вслед Коринне. Пусть она чужестранка, пусть ее презирают, но она шла через толпу гордой походкой, словно богиня Артемида.

Странная встреча с Магнетом послужила для Алексида предлогом, чтобы заговорить с Лукианом в гимнасии. В этот день была очередь Лукиана украшать цветами статую Гермеса, бога — покровителя атлетических состязаний, которая стояла на портике.

— Помочь тебе? — предложил Алексид.

Лукиан оглянулся.

— А!.. — сказал он удивленно. — Если хочешь. Я думаю расположить эти гиацинты

здесь, а лавры — поверх всего.

— Понимаю... Лукиан, мне надо тебе кое-что рассказать.

— О чём? — подозрительно спросил Лукиан.

— Не о нас с тобой. Это по-настоящему важно. Мне надо с кем-нибудь посоветоваться, а доверяю я только тебе.

— Ну, так рассказывай. — Лукиан был явно польщен.

Тогда Алексид рассказал ему о незнакомце у городских ворот и о том, как, попав в мастерскую Кефала, он случайно узнал, кто это такой. Конечно, ему пришлось упомянуть Коринну — он не собирался лгать Лукиану, — но он рассказал всю правду: что до этого дня он с ней не виделся, но теперь назло Лукиану пошел ее искать. Тот внимательно его выслушал и сказал:

— Извини меня. Я должен был сразу тебе поверить.

— Забудем об этом! Ведь все сложилось к лучшему: если бы мы не поссорились, я не узнал бы, что это был Магнет.

Тут к ним, неслышно ступая босыми ногами, подошел наставник, обучавший их борьбе.

— Довольно возиться с цветами, Лукиан. А ты, Алексид, почему ты не мечешь копье?

— Сейчас идем! — воскликнули они хором.

Но, прежде чем они разошлись, Алексид — на поле, а его друг — в палестру, Лукиан сказал:

— Дождись меня, и мы решим, как быть дальше.

— Хорошо! — И Алексид сбежал из тени портика на яркое солнце. Давно уже у него не было так легко на душе.

— Конечно, это, может быть, напрасная тревога, — сказал Лукиан, когда они медленно шли домой из гимнасии. — А ты уверен, что не ошибся?

— Уверен. У него такое запоминающееся лицо... И, кроме того, если бы я сначала узнал историю Магнeta, то, конечно, на скачках мне могло бы почудиться, будто я его вижу. Но ведь случилось как раз наоборот. И то, что я услышал из их разговора, кажется очень подозрительным, хотя сразу я этого и не понял.

— Пожалуй, ты прав, — задумчиво хмурясь, согласился Лукиан. — Гиппий сказал — «чрезвычайно опасно», имея в виду, что Магнету опасно находится в Афинах.

— И я так думаю.

— А Магнет сказал, что в подобных случаях приходится пренебрегать опасностью, да к тому же она не так и велика, раз сумерки быстро сгущаются...

— ...и его не узнают! Ведь на нем была пастушеская шляпа, но он говорил не как пастух. И он шептался не с кем-нибудь, а с моим дорогим другом Гиппием!

— Мне это не нравится, — сказал Лукиан. — Я слышал про Магнeta, когда был совсем малышом. Ни с того ни с сего человека не изгоняют.

— Как это должно быть ужасно — расстаться с друзьями, со всем, что ты любишь... Просто не могу себе представить, что я чувствовал бы, если бы меня изгоняли.

— А я не могу себе представить, чтобы ты совершил преступление, за которое карают изгнанием. Те, кто покушается на свободу Афин, заслуживают самого сурового наказания. И, уж во всяком случае, они недостойны того, чтобы жить здесь. А теперь, — деловито закончил Лукиан, — давай подумаем, что делать дальше.

— Давай.

— Отцу ты рассказать не можешь, так как пришлось бы слишком много объяснять, почему ты оказался в мастерской Кефала, когда тебе следовало быть у Милона...

— По-моему, нам вообще не следует упоминать о Кефале, — озабоченно перебил его Алексид. — У него могут быть неприятности, если люди... люди с предрассудками, я хочу сказать, если они узнают, что он хранит эту статую. — Это уж его дело. Зачем он хранит

статую предателя?

— Но ведь это же произведение искусства, Лукиан! Одно из его лучших творений!

— Какая разница? Он все равно должен был разбить ее.

— Ну, не будем из-за этого ссориться, — с принужденным смехом сказал Алексид. — Но, может быть, ты скажешь своему отцу? То есть скажешь, что я случайно увидел Магнeta, — тебе незачем будет объяснять, как я его узнал. Пусть думает, что я запомнил его лицо еще до того, как он был изгнан. Тогда, если твой отец поговорит с кем-нибудь из должностных лиц, они смогут все это проверить... И, во всяком случае, они будут наготове, если Магнет осмелится еще раз пробраться в Афины.

— Я придумал кое-что получше. Мой дядя — тот, который одолжил нам лошадей, — член Совета Пятисот[23]. Я расскажу ему. Ведь о делах государственной важности положено докладывать Совету Пятисот, — торжественно заключил Лукиан.

— Да, конечно.

И они пошли дальше, чувствуя, что приняли правильное решение и вообще вели себя с благородной рассудительностью взрослых мужчин. Но, пресекая рыночную площадь, они увидели Гиппия, и Алексид, сам того не замечая, вновь был втянут в опасный водоворот, который, казалось, бурлил вокруг молодого щеголя.

— За ним надо бы следить, — таинственно прошептал Лукиан. — Если Магнет что-то задумал, то Гиппий — его сообщник.

— Знаешь что? А если мы сами будем за ним следить?

— Как это?

— Поглядим, куда он ходит, с кем особенно дружит. А если заметим что-нибудь подозрительное, то расскажем твоему дяде.

— Это ты неплохо придумал... Но только тебе придется быть осторожным — он ведь знает тебя в лицо.

— М-м... да. Но сейчас-то мне можно посмотреть, с кем он разговаривает, — в толпе он меня не заметит.

Гиппий стоял в небольшой кучке оживленно беседующих людей. Среди них было несколько таких же щеголов, как он, и два-три человека постарше, а вокруг толпились юноши, к которым теперь незаметно присоединились и два друга. Они ничуть не удивились, обнаружив, что спор идет о политике. Однако они услышали вещи не совсем привычные — разговор шел не о последних решениях Народного собрания и не о поступках того или иного архонта или стратега[24]. Обсуждались теоретические вопросы.

Гиппий с обычной самоуверенностью утверждал:

— Самая идея демократии никуда не годится. Она строилась на неверной основе.

— Каким же это образом, мойуважаемый юный друг?

От Алексида и Лукиана говорившего заслоняла колонна, но, судя по голосу, это был человек пожилой; его мягкая, убедительная манера говорить разительно отличалась от самоуверенной напыщенности Гиппия.

— О, это нетрудно объяснить, — небрежно бросил в ответ Гиппий.

— Тем лучше, а то я не слишком-то понятлив.

Среди слушателей пробежал смешок. Гиппий торопливо начал свое пояснение, опасаясь упустить благоприятный момент:

— Ну, мы часто сравниваем управление государством с вождением корабля и говорим о «государственном корабле»...

— Прекрасное сравнение!

— Но мы были бы последними дураками, если бы плавали по морю, руководствуясь «демократическими принципами»! — Произнося последние слова, Гиппий презрительно усмехнулся. — Если бы мы без конца обсуждали, когда поднимать парус, а когда бросать

якорь, и решали бы голосованием, кому быть кормчим, то нами в конце концов пообедали бы рыбы.

Слушатели опять засмеялись, на этот раз одобрительно.

— Ну, а кто же должен быть кормчим, любезный Гиппий? Судя по тому, что ты говорил раньше, ты, вероятно, поставил бы у руля человека, везущего самый дорогой груз?

— Ну-у-у... — Гиппий заколебался, подозревая ловушку. — Во всяком случае, он больше других будет заботиться о целости корабля.

— Но сделается ли он благодаря этому самым искусственным кормчим? — спросил из-за колонны мягкий голос. — Ты когда-нибудь попадал на море в бурю, Гиппий?

— Разумеется! И не один раз.

— И я полагаю, ты в таких случаях требовал, чтобы к рулю вместо бедняка морехода поставили самого богатого из пассажиров, и тогда преставал опасаться за свою жизнь?

Слушатели разразились таким громким хохотом, что он заглушил ответ Гиппия. Алексид увидел, как молодой щеголь, совсем сбитый с толку тем, что его собственный довод обратился против него, побагровел и начал бормотать что-то невнятное. — Кто с ним говорил? — шепнул Алексид Лукиану. — Я хочу посмотреть.

Друзья потихоньку обошли колонну и увидели человека, чьи короткие, почти смиренные вопросы поставили Гиппия в такое глупое положение.

— А! — с неодобрением сказал Лукиан. — Оказывается, это Сократ.

Алексид и раньше видел его — Сократа знал весь город. Он неуклюже, как пеликан, расхаживал по улицам босиком даже в зимние холода — смешной курносый старик с круглым брюшком, которое не могли скрыть складки хламиды. Но Алексид впервые видел его так близко, что мог разглядеть насмешливые искорки, светившиеся в немного выпученных умных глазах, и добродушные морщинки в уголках рта. И никогда прежде он не слышал этого голоса, про который говорили, что он околовывает.

Гиппий рассвирепел. Он не выносил, когда над ним смеялись.

— Мне, конечно, не надо было спорить с тобой, Сократ, — сказал он язвительно. — Кто же не знает, что ты самый мудрый человек в Афинах... или нет — во всем мире!

— Что ты! — с кроткой улыбкой упрекнул его Сократ. — Какой же я мудрец? Хотя, быть может, в иных отношениях я и умнее... — тут он на мгновение умолк и тактично закончил:

— ...чем некоторые из известных мне людей.

— Ах, вот как! Так, значит, есть предел и твоей удивительнейшей скромности?

— Мудр я только в одном отношении, мойуважаемый юный друг: я ничего не знаю, но при этом я **ЗНАЮ**, что ничего не знаю. А некоторые люди ничего не знают, но воображают, будто знают очень многое.

Это было сказано так мягко и почтительно, что Гиппию была предоставлена полная возможность выйти из спора с честью. Но он не умел быстро справляться с собой, а веселые смешки окружающих не способствовали улучшению его настроения. Он скрипнул зубами, грубо буркнул, что ему пора идти, и поспешно удалился. Сократ виновато улыбнулся остальным своим собеседникам.

— Теперь вы, наверно, поняли, почему меня иногда называют оводом, — сказал он и засмеялся. — Таков уж мой удел — досаждать даже самым благородным коням и жалить их. А потом смотреть, как они, брыкаясь, скачут по лугу.

Алексид вдруг почувствовал, что Лукиан дергает его за плечо.

— Пойдем, — шепнул он. — Нам тут больше незачем оставаться.

— Да, пожалуй... — Но Алексид последовал за своим другом с большой неохотой. Он услышал голос волшебника Сократа и с радостью остался бы слушать его.

Глава 8

ПОГУБИТЕЛЬ МОЛОДЕЖИ

Свобода... Новая жизнь... Алексид был прав, ожидая, что его жизнь станет совсем другой, когда он кончит учиться в школе. Но, лежа в темноте и прислушиваясь к ровному дыханию спящего Теона, он думал о том, что и понятия не имел, как глубоки будут эти перемены.

Он рос в строгой, но любящей семье, и детство его было счастливым — много игрушек, когда он еще играл в игрушки, песни и сказки, чтобы он скорее уснул, прогулки и всякие удовольствия в дни праздников. Однако он всегда должен был подчиняться суровой дисциплине, уважать которую до семи лет, пока он жил на женской половине, его учила материнская сандалия, потом — палка школьного учителя, а главное, с самого младенчества — строгий голос отца.

Его воспитывали так, чтобы он всегда поступал и думал, как положено юноше из почтенной афинской семьи. Ему полагалось примерно вести себя, всегда быть учтивым и почитать старших, в установленные дни посещать храмы и приносить богам должные жертвы, а главное — никогда не забывать, что он афинянин, что его родной город находится под особым покровительством богини Афины, которая сделала его самым могущественным и славным среди всех греческих городов.

Однако в глубине души он позволял себе некоторые сомнения, так как был прирожденным бунтарем. Почему, если человек торопится, он не может бежать по улице бегом? Неужели соблюдение достоинства — главное в жизни взрослых? И почему, когда к отцу приходят гости, мать должна ужинать в гинекее, хотя обычно вся семья ужинает вместе? Почему считается, что женщины могут разговаривать только о самых обыденных предметах и не способны вести умную беседу?

Правда, задавать себе такие вопросы он стал лишь в последнее время. В школе было не до них. В школе приходилось зазубривать целые свитки Гомера, Пиндара и других поэтов, узнавать из них историю богов и героев древности и учиться, как следует себя вести и какие благородные качества в себе развивать. Если один поэт противоречил другому или даже самому себе, этого просто не полагалось замечать. Надо было учить все подряд, так же как музыку и математику. Все это истины (иначе им не стали бы учить), и все они равно полезны.

Такая система обучения годилась для большинства. Она подходила Лукиану. Она воспитывала благородных людей, таких, как отец. Но в последнее время Алексиду все чаще казалось, что для него она не подходит. Первые серьезные сомнения зародились у него после знакомства с Коринной.

Она явилась из мира, лежащего вне пределов Афин, и каждое ее слово, каждый взгляд ее спокойных серых глаз напоминали ему, что мир этот очень велик, полон своих собственных чудес и незнакомых обычаяев.

А теперь еще Сократ и молодые люди, составлявшие его кружок...

После первой встречи с ним Алексид пользовался каждым удобным случаем, чтобы еще раз услышать этот мягкий, насмешливо-добродушный голос. Впрочем, таких случаев представлялось множество, так как Сократ, казалось, почти все свое время проводил на улицах в беседах с друзьями и бывал рад каждому новому слушателю, будь он молод или стар. И какие это были беседы! Никогда еще Алексид не слышал ничего и в половину столь интересного.

Сократ все подвергал сомнению. Нет, он ни с кем не спорил, он только терпеливо и кротко задавал вопросы, чтобы помочь людям точнее объяснить, что, собственно, они имеют в виду. И очень часто оказывалось, что под конец они говорили совсем не то, что намеривались сказать сначала. Больше всего Алексиду нравилось, когда в разговор

вмешивался какой-нибудь надутый тупица и принимался непререкаемым тоном рассуждать о предмете, в котором считал себя знатоком. Вскоре Сократ начинал перебивать его речь своими столь безобидными на первый взгляд вопросами, и каждый из них, словно острый нож, вспарывал красноречивые аргументы оратора, так что они оказывались плоскими, как выпотрошенная рыба. Алексид всегда интересовался звучанием слов и их смыслом, но только теперь, услышав Сократа, он понял, какими увлекательными могут быть поиски истины.

Истины? Стариk Милон меньше всего заботился о ней, когда обучал их ораторскому искусству. А в Сократе Алексида особенно привлекала его честность. Он вовсе не стремился выйти победителем из спора, они искренне хотел узнать истину. А если верить Милону, то, произнося речь, об истине как раз и не следует думать.

— Красноречие, — объяснял он своим ученикам, — это искусство убеждать. Люди легче всего верят тому, чему им хочется поверить. Поэтому, обдумывая свою речь, вы в первую очередь должны взвесить перед кем вы ее произносите, а затем спросить себя, почему хотят верить эти люди, и излагать соответствующие доводы. А потом надо расположить их так, чтобы то, в чем вы хотите убедить своих слушателей, показалось им логическим результатом ваших рассуждений.

Алексид спросил тогда, скрывая свое негодование под маской простодушия:

— А как же поступить в том случае, когда надо убедить их в том, во что они верить не хотят? Ведь этого же не избежать. Ну, например, государство окажется в опасности или надо будет повысить налоги.

— Умный вопрос! — У Милона уже был готов ответ. — При обычных обстоятельствах следует играть на их желаниях, но порой приходится играть на их страхе. Припугните их хорошенько! — Тут ученики расхохотались. — Обрисуйте опасность самыми страшными красками, но при этом не забудьте указать, что она никогда не возникла бы, если бы с самого начала прислушивались к вашим светам. Нападайте на ораторов, которые отстаивают другую точку зрения, — это поможет вам отвлечь внимание слушателей от неприятных истин. Докажите, что именно ваши противники ввергли страну в беду, а то, что предлагаете вы (что бы вы ни предлагали), — это единственный путь к спасению.

— Понимаю. — На этот раз Алексида не удалось полностью скрыть свои чувства, и в его голосе зазвучала ирония, которой он научился у Сократа. Вот, значит, как можно стать хорошим государственным деятелем, чтобы верно служить отечеству!

— Так можно стать прекрасным оратором, — ядовито возразил Милон. — И мне платят, чтобы я учил вас именно этому делу. Дело оружейника — ковать хорошие мечи, не заботясь о том, ради чего их пустят в ход.

«Но он был неправ, — подумал Алексид, беспокойно ворочаясь на постели и с нетерпением ожидая, когда пение петухов возвестит наступление утра. — Конечно, он был неправ, только я не нашелся что ему ответить. А вот Сократ сумел бы это сделать».

Лукиан тем временем следил за Гиппием, но не заметил ничего подозрительного. Политические взгляды Гиппия были известны всем. Как многие богатые юноши, Гиппий принадлежал к аристократическому кружку, который требовал, чтобы управление страной было передано в руки «лучших граждан». В этом не было ничего противозаконного, пока человек не устраивал заговор или не вступал в тайные переговоры с правителями других государств, как делал Магнет, которого за это и изгнали.

— Дядя осторожно поговорил кое с кем в Совете Пятисот, — сообщил Лукиан Алексиду. — Они полагают, что ты ошибся и это был не Магнет. Известно, что он сейчас в Спарте. Я, правда, не думаю, чтобы это могло помешать ему тайком пробраться в Афины, особенно в дни праздника.

— Нет, это был он.

— Во всяком случае, они предупреждены и теперь будут настороже, беспечно ответил Лукиан. — Им виднее, что делать.

— Наверно, так.

Но в голосе Алексида слышалось сомнение. За последнее время он утратил слепую веру в мудрость славных мужей, которые управляли его родиной. Трудно сказать, кто был в этом больше повинен — Сократ или Милон. Если бы отец знал, что вся наука Милона строится на ловкой лжи, он никогда не допустил бы, чтобы его сын занимался у этого софиста. Любимый герой отца Перикл был великим оратором, но он не следовал правилам Милона. Не старался любой ценой угодить своим слушателям и, если того требовала необходимость, не боялся говорить народу неприятную правду. Если бы отец мог присутствовать на занятиях и услышал подленькие поучения Милона, у него бы глаза на лоб полезли. Но если он, Алексид, просто расскажет обо всем отцу и тот в гневе бросится к Милону требовать от него объяснений, хитрый софист без труда обведет его вокруг пальца и еще будет жаловаться, что его оклеветали. Милон знал назубок все приемы, какими только можно одурачить присяжных, и для него будет детский забавой убедить в своей правоте негодующего родителя.

И все-таки он больше не может заниматься у Милона. Он там задыхается. Сократ сказал вчера замечательные слова: «Ложь дурна не только сама по себе, она заражает гнилью душу». Алексид чувствовал, что, если Милон будет целый год наставлять его в лицемерии, он невольно начнет следовать его урокам. Не ныряй в грязную реку — это хорошее правило; нырнув, ты непременно запачкаешься.

Но, если он не в силах доказать отцу, что Милон плох, может быть, удастся убедить его, что есть наставники гораздо лучше? Но кто же? Задумавшись над этим, Алексид понял, что хочет учиться только у одного человека — у Сократа. Однако согласится ли Сократ взять его в ученики? Трудно сказать. Сократ не похож на софистов, он вообще ни на кого не похож.

Но ведь ничего страшного не случиться, если его прямо спросить об этом. Алексид чувствовал, что может спросить Сократа о чем угодно.

Улучив минуту, когда стариk, против обыкновения, был на улице один он направлялся в общественные бани, — Алексид окликнул его:

— Мне надо поговорить с тобой, Сократ...

— Ну? — Большой лысый лоб наклонился к нему, ласковые глаза внимательно его разглядывали. — Чем могу я служить Алексиду, сыну Леонта? «Так он помнит, как меня зовут! — подумал Алексид. — Это уже немало».

Два дня назад Сократ заметил его в толпе своих слушателей и спросил его имя.

— Я хочу, Сократ... — сказал он, запинаясь от волнения. — Если мой отец согласится, ты не возмешь меня в ученики? И... э... какую плату ты берешь?

Стариk рассмеялся.

— Милый юноша, неужели ты думаешь, что я беру плату с моих молодых друзей, с которыми ты меня видел?

— Ты... ты хочешь сказать, что... Неужели ты учишь их даром?

Лицо Алексида вытянулось. Отцу не внушит уважения наставник, который учит даром. Он ведь любит повторять, что даром в жизни ничто не дается. Вот почему все считают Милона замечательным учителем — он требует за свои уроки очень высокой платы.

Сократ заметил его разочарование и улыбнулся.

— Я ведь никого ничему не учу, — сказал он. — Так с какой стати я буду брать с моих друзей деньги? Я еще ни разу не позволил, чтобы мне платили.

— Но ведь ты же учишь нас! — горячо возразил Алексид. — Только слушая тебя, я уже узнал очень много.

— Да неужели? — Сократ как будто был в нерешительности. Будь Алексид старше и самоувереннее, ему, пожалуй не миновать бы града вопросов, после которых он почувствовал бы себя ощипанным цыпленком, но Сократ благоволил к юности и избавил его от этого испытания.

— Рад слышать это, — продолжал он лишь с чуть заметной усмешкой, — но только я здесь ни при чем. Все, что ты понял, с самого начала было вот тут, — постучал он толстым пальцем по загорелому лбу юноши. — А я лишь немного помогаю скрытым тут мыслям добраться до языка, чтобы человек мог облечь их в слова и как следует проверить.

— Я... прости меня, Сократ... я ведь думал...

— Не смущайся, милый юноша. Если тебе нравится слушать наши разговоры, слушай их сколько хочешь.

— Спасибо! Ты ведь не думаешь, что я слишком молод или...

— Поиски мудрости долги и трудны, — снова улыбнулся Сократ. — Если ты готов к ним, то, чем скорее ты их начнешь, тем лучше. — И, повернувшись, он побрел дальше.

— Расскажи мне про него, — попросила через несколько дней Коринна, когда они с Алексидом удобно расположились на уступе у входа в пещеру. Сирень уже отцвела, но старая каменоломня пестрела звездами распустившихся олеандров. Только что кончился урок игры на флейте, и теперь, прежде чем приступить к чтению трагедии Софокла, которую Алексид принес на этот раз, они ели смоквы и болтали.

— Ну, он довольно смешон с виду, — начал Алексид, — и смахивает на сатира...

— И не страшно тебе говорить такие вещи здесь, в горах? — перебила она его шутливо, но в ее голосе чувствовалась робость.

Коринна не была такой суеверной, как Лукиан, но ей не хватало широты взглядов, которой учился Алексид у своих новых друзей. А вдруг сатиры и в самом деле есть? И вот сейчас перед ними появится козлоногое чудище с лошадиным хвостом, оскорбившись, что его сравнили с каким-то философом.

— Не бойся, — успокоил ее Алексид. — Сократ говорит, что их просто выдумали поэты.

— Ну, так рассказывай про него дальше.

— Он удивительный человек. Он необычайно подвижен, несмотря на большой живот. По-моему, в молодости от был неплохим атлетом и до сих пор не бросил упражнений. Он отличился на войне, и ему присудили награду, но он настоял, чтобы ее отдали кому-то другому — человеку, которого он перед этим спас в битве.

— Он тебе сам про это рассказал?

— Ну, конечно, нет! Мне рассказали его друзья.

— А какие они — эти другие мальчики?

— Да они вовсе не мальчики, я там намного моложе всех. Они уже взрослые люди. Вот, скажем, Ксенофонт. Такой молодец! Только, по-моему, не слишком умный — больше думает о лошадях, о собаках да о военной службе, — но зато с ним интересно разговаривать. И еще Платон. Ему двадцать лет. И он все умеет — отличается в состязаниях, особенно в борьбе, и к тому же сочиняет стихи и собирается написать трагедию. Как я, — добавил Алексид, грустно вздохнув. — Да только мне и пробовать не стоит — не могу же я тягаться с такими, как он!

— Мне Платон не понравился бы, — заметила Коринна, стараясь его утешить. — Он чересчур уж хорош.

— Нет, он бы тебе понравился, — сказал Алексид. — Вы с ним смотрите на вещи одинаково.

— Как так?

— А он считает, что женщины не глупее мужчин и должны получать такое же образование.

— Вот это правильно! — Коринна захлопала в ладоши. — Расскажи еще что-нибудь.

И Алексид продолжал рассказывать ей о Сократе и о замечательных молодых людях из его кружка, пока удлинившиеся вечерние тени не напомнили им, что настало время возвращаться в город. Алексид нес под мышкой свиток трагедий, который они так и не развернули.

...Дома мать встретила его тревожным взглядом, а Теон сказал:

— Тебя искал отец.

Ника дернула его за локоть и шепнула:

— Что ты натворил, Алексид? Мне ведь никогда ничего не рассказывают.

— Право же, Ника, я не знаю...

Но тут в дворик быстрым шагом вошел отец. Вот оно! Алексид приготовился к худшему: кто-нибудь видел, как он входил в харчевню, чтобы поговорить с Каринной, или...

— Алексид!

Голос отца был строг, но спокоен. Последнее время Леонт старался не забывать, что Алексид уже больше не мальчик. Теперь он не приказывал, а старался разговаривать с ним, как мужчина с мужчиной, но старые привычки часто давали себя знать. Даже Филиппу, когда он приезжал в отпуск, приходилось выслушивать от отца суровые выговоры.

— Что, отец? — спросил Алексид, подходя к нему.

Они остановились под смоковницей. В одной из дверей показался было Парменон, но тут же юркнул обратно в дом. Во дворе стало удивительно тихо, однако Алексид не сомневался, что Теон и Ника притаились где-нибудь поблизости и изо всех сил стараются разобрать, что говорит вполголоса отец.

А тот говорил:

— Мне было грустно узнать, что мой сын заводит крайне нежелательные знакомства.

Значит, он все-таки слышал про Коринну! Но чем так уж страшно это знакомство? Кровь прилила к щекам Алексида, но он попытался ответить отцу столь же сдержанно:

— А почему оно нежелательно?

— Неужели ты не понимаешь? — спросил Леонт тем же спокойным тоном. Ведь этот Сократ — притча во языцей.

Ах, так, значит, дело не в Коринне, а в Сократе!

— Но почему, отец! — смущенно пробормотал он.

— Во-первых, он безбожник — он не признает наших богов. Тех юношей, которые попадают в его сети, ждет верная гибель.

— Это несправедливо...

— Нет, это правда, Алексид. Я не слишком виню тебя, то ты сам не сумел в нем разобраться. Он хитрый стариk и умеет войти в доверие к молодым людям. А потом заставляет их забыть все те правильные и нужные вещи, которым их учили, и набивает им голову всякой ядовитой чепухой.

— Но ведь... — растерянно бормотал Алексид, пытаясь найти хоть какое-то сходство между тем Сократом, которого он знал, и человеком, которого описывал отец.

— Алкивиад^[25] попался на его удочку, и какова была его судьба? Он мог стать украшением Афин, а вместо этого продал родину врагу! И не один он плохо кончил. А что за юношей собрал Сократ вокруг себя теперь? Вот Платон — его дядя Хармид считается одним из самых опасных противников нашей демократии. Или Ксенофонт, который открыто восхищается порядками Спарты. Приятно ли мне, что мой сын знается с подобными людьми? — Алексид хотел было возразить, но Леонт поднял палец, требуя, чтобы его не перебивали. — К счастью, ты еще очень молод. Ты можешь больше не встречаться с ними, и все кончится хорошо. Но помни: больше ты с ними не знаком. С этой минуты! Сократ и его вздорное учение погибельны для юношей. — Он ласково положил руку на плечо Алексида.

— Но с тобой ничего дурного не случится. Я этого не допущу — ты мне слишком дорог.

Глава 9

ТРАГЕДИЯ... ИЛИ КОМЕДИЯ?

«Ру-у, ру-у, ру-ру-ру!» — заворковал лесной голубь, и обрывы вокруг заброшенной каменоломни ответили ему негромким эхом. Пригнувшись в кустах Алексид заметил на обрыве яркое пятно. Значит, Коринна, как всегда, пришла в пещеру раньше его. Хитон у нее был золотистый, как цветок крокуса. Девушка стояла у края расселины и оглядывалась по сторонам.

«Ха-ха-ха!» — раздался насмешливый крик сойки в кустах сирени у самых ее ног. Корина улыбнулась и посмотрела вниз:

— Ты меня не обманешь, Алексид! Хотя, честно говоря, я было поверила, что это и вправду ворковал голубь. Ну, влезай же сюда.

Алексид поставил ногу на развалину, ухватился за протянутую руку Коринны и одним прыжком очутился на уступе рядом с ней.

Она притворилась рассерженной:

— Ты просто язва! Хорошо бы и вправду это был лесной голубь. Я еще ни разу не видела тут голубей и не слышала их.

Корина вела счет птицам разных пород, которые залетали в каменолому. Дятел, кукушка, сорока, сойка, сокол, куропатка — список все увеличивался. У маленького водопада они один раз видели зимородка и не сомневались, что где-то поблизости должен жить соловей. Они даже собирались было как-нибудь остаться тут на всю ночь, чтобы его послушать, но потом решили, что во всех отношениях будет благоразумнее этого не делать.

— Мать покажет мне соловья! — сожалением сказала Коринна.

Горго не была строгой матерью, ее добродушие не уступало ее толщине, но и она не потерпела бы ночных прогулок.

«Как и отец, — подумал Алексид, — хоть он даже и не знает, что на свете есть Коринна».

— Что мы сегодня будем читать? — спросила девушка.

— Сегодня мы займемся письмом.

Из складок своего хитона Алексид извлек свиток чистого папируса и положил рядом с нем не землю тростниковые перья, нож, чтобы расщеплять их, и маленький кувшинчик, в котором, когда он вытащил затычку, блеснули черные чернила.

— Вот хорошо-то! А с чего мне переписывать?

— Я тебе продиктую... одну вещь, которую знаю наизусть.

— Еврипида? Гомера?

— Потом узнаешь.

— Но мне же неинтересно писать неизвестно что!

— Но, может быть, тебе все-таки будет интересно.

— Ну и учитель! — Коринна показала ему язык: жизнь в харчевне не придала ее манерам изысканности.

Алексид расщепил тростинку, заточил ее и передал своей ученице. Она устроилась на ровном полу пещеры, опираясь на левый локоть, и подготовилась писать. Алексид, скрестив руки на груди, стал у входа в пещеру и устремил глаза не город и далекое море. Затем медленно и отчетливо он продиктовал:

— «Со скорбной вестью я пришел к тебе, Ахилл...»

Продиктовав двенадцать строк, он остановился. Чтобы записать их, потребовалось немало времени, но Коринна с каждым занятием, несомненно, писала и говорила все

лучше. Она выводила изящные буквы с такой любовью и тщательностью, словно занималась вышиванием. Алексид нагнулся и указал ей на несколько ошибок.

— Ну, что ты об этом скажешь? — спросил он небрежно.

— Что скажу? Ах, ты об этой речи! Очень неплохо. Только чересчур уж уныло, как ты думаешь?

— Ну, а как же иначе? Это ведь из трагедии! Не хочешь же ты, чтобы вестник за живот держался от хохота. Он же пришел рассказать Ахиллу о смерти его лучшего друга.

— А-а... Только комедии нравятся мне гораздо больше. Помнишь, ты приносил одну — Аристофана. О том, как все женщины заперлись в крепости и отказывались вернуться к домашним очагам, пока их мужья не обещают навсегда прекратить войну.

— Она называлась «Лисистрата».

— Вот-вот! — Коринна заткнула кувшинчик с чернилами и еще раз перечитала написанное.

Трудно было сказать, что ее интересует — стихи или собственный почерк. Алексид нервно облизнул губы. Сердце у него так и подскочило, когда она, кончив читать, сказала:

— А все-таки и это очень хорошо. Из какой трагедии ты это взял?

— Из «Патрокла», — буркнул он.

— Я о такой и не слышала. Кто ее сочинил?

— Алексид, сын Леонта.

— Алексид... — И тут Коринна все поняла. Она вскочила на ноги. — Ты говоришь о себе? Ах, Алексид, какой ты умный! А мне и в голову не пришло...

Коринна говорила так искренне, что Алексид не мог скрыть свое удовольствие.

— Я рад, что тебе понравилось! — сказал он улыбаясь.

— Нет, ты не возможен! А вдруг бы мне не понравилось и я бы прямо так и сказала — ты бы обиделся, и...

— Потому-то я и не сказал сразу. Я хотел узнать, что ты подумаешь на самом деле.

— А ты помнишь еще что-нибудь?

— Я помню все, что у меня готово. Стихов двести — триста. Я ведь должен хранить их у себя в голове: если я начну писать дома, от расспросов спасения не будет.

— Ну, так записывай здесь! Сочиняй понемножку, все хорошенько запоминай, а когда будешь приходить сюда, записывай. В пещере сухо, и мы можем прятать тут и папирус, и чернила, и все, что понадобится.

— Да это... — Он хотел было сказать: «Я как раз и собирался сделать», но вовремя спохватился. — Ты замечательно придумала! — договорил он с жаром.

— Но сначала прочти мне все, что ты уже сочинил, — потребовала Коринна. — Раз мне больше не надо писать, слушать будет гораздо интереснее.

Коринна снова села, прислонилась спиной к скале и обхватила руками колени. Она пошевелилась только тогда, когда Алексид, кончив декламировать, произнес обычным тоном:

— Вот и все, что я пока сочинил.

— Ах, Алексид! — тихо сказала она. — Как тебе, наверно, было грустно, пока ты все это придумывал!

Он рассмеялся принужденным смехом.

— Чисто по-женски! Сразу о личных чувствах. А стихи тебе понравились?

Ведь это же не я говорю, а Ахилл, Фетеда и...

— Нет, ты! Все говоришь ты, до последнего словечка.

Он понял, что спорить с ней бесполезно.

— Последнее время мне и правда было невесело, — признался он.

— Из-за Сократа? Из-за того, что тебе больше не позволили его слушать?

— Да. Но не только из-за этого. Я думал, мне будет очень весело жить, когда я перестану ходить в школу, но ничего в этом хорошего нет. Поскорей бы стать еще старше и пойти служить на границу! Но, конечно, и это может оказаться мне не по душе. — Он засмеялся, на этот раз искреннее.

— Хорошо хоть одно, — сказал он задумчиво, — ты всегда можешь сам над собой посмеяться.

— И то правда. Я знаю, что я сам своего рода шутка. Только, в отличие от настоящих шуток, я с возрастом делаюсь все смешнее. Ну что ж... — Он нагнулся и поднял свиток папируса. — Стихи, конечно, не бессмертные, но, когда я все это излил, мне стало легче на душе.

— Нет, стихи хорошие. Они мне очень понравились, хотя я не все поняла.

Но лучше бы ты написал комедию.

— Нельзя писать по заказу, — объяснил он. — Надо, чтобы замысел совсем тебя захватил, чтобы слова сами рвались наружу.

Они провели в пещере еще часа два, играя на флейте и болтая. Домой они отправились задолго до темноты, чтобы идти не по пыльной дороге, а по берегу прихотливо извивающегося Илисса.

— Я люблю деревню, — заметила Коринна.

Лето было уже в разгаре. На небольших полях начинали золотиться колосья, а среди них пламенели маки. Тут виднелись желтые, как хорошо начищенная медь, ноготки, там — синий, будто небо, цикорий. В высокой траве неумолчно трещали бесчисленные кузнечики. Алексид, подразнивая свою спутницу, сообщил ей чье-то изречение: «Счастливы кузнечики — их самки лишены голоса».

— О да, — невозмутимо согласилась Коринна, — но ты послушай, какой они сами поднимают шум! Прямо как сборище мужчин.

Река уже обмелела, и, сняв сандалии, они зашлепали по прозрачной воде. Ветки платанов над их головами смыкались в голубовато-зеленый тенистый свод.

— Да, я тоже люблю деревню, — сказал Алексид, возвращаясь к началу их разговора.

— На месте моего отца я бы жил в нашем загородном доме, а в Афинах бывал бы только на праздниках.

— Но тогда его ремесло, пожалуй, увязло бы в деревенской глине!

— Ну, глины он не боится, он ведь гончар.

Коринна засмеялась:

— Ах, да! Ты же мне говорил.

Через несколько шагов он вдруг остановился, и вода запенилась вокруг его щиколоток.

— Там впереди какие-то люди. Слышишь голоса?

Коринна прислушалась. В неумолчное журчание реки вплеталось прерывистое журчание человеческой речи.

— Но ведь это же... — вдруг взволнованно шепнул Алексид, — это же голос Сократа! Не может быть...

— Почему не может быть?

— Потому что он никогда не покидает города. Он говорит, что не интересуется природой и...

— Что ж, — сказала Коринна, которая прошла вперед и заглянула в просвет между ветками, — если ты говоришь, что этого не может быть, значит, не может! Но вон там на траве лежит курносый старик, и, если это не Сократ...

Алексид растерялся. Все это время он страшился случайной встречи с Сократом, но уж лучше бы она произошла на людной улице, чем здесь.

— Давай тихонечко уйдем от них, — пробормотал он.

— Ты, наверно, хотел сказать: «тихонечко пойдем к ним», — возразила она.

— Что?

— Я хочу поближе рассмотреть этого мудреца, я хочу послушать его. Такого случая я не упущу.

— Но мой отец сказал... — Алексид почувствовал, что говорит совсем как Лукиан.

— Твой отец не хочет, чтобы тебя видели в этой компании, раз у них такая дурная слава, — заспорила Коринна. — А если ты невзначай услышишь десяток-другой слов, что ему за дело! Или ты такой легковерный, что они сразу тебя испортят?

Алексид уступил ей — и почти охотно. Несмотря на все, что ему говорил отец, он продолжал восхищаться Сократом; его дурная слава, наверно, это просто какое-то недоразумение. И ведь, случайно подслушав часть их беседы, он вовсе не нарушит отцовского запрета.

— А остальные кто? — шепнула Коринна, снова заглянув в просвет меж ветвей.

— Рядом с ним Платон. Другой, тоже красивый, — это Ксенофонт. Его соседа, кажется, зовут Федр.

— А! — отозвалась Коринна, с любопытством разглядывая собеседников.

Платон и Ксенофонт были так же красивы, как их учитель безобразен. Платон, самый молодой, был сложен, как атлет, но тонкие, одухотворенные черты лица выдавали в нем поэта. Ксенофонт чем-то напоминал воина; видно было, что этот человек энергичный и деятельный.

Но ни Алексиду, ни Коринне не суждено было узнать, о каких важных предметах шел разговор между ними. Внезапно кусты затрещали, и Коринна испуганно вскрикнула. Прежде чем она успела сообразить, что напавший на них зверь просто веселый щенок, который и не думал кусаться, а хотел только, чтобы его приласкали, Ксенофонт уже вскочил на ноги и раздвинул ветки. Спасаться бегством было поздно. Готовые от смущения провалиться сквозь землю, они вышли на залитую солнцем поляну в сопровождении щенка, который радостно прыгал вокруг них.

— Да это же Алексид! — сказал Сократ, приподнявшись и глядя на Коринну. — А я-то не мог понять, почему ты нас совсем забыл. Но теперь, пожалуй, вопросы излишни.

Его глубоко посаженные глазки лукаво посмеивались. Ведь и он не всегда был невозмутимым философом. Когда-то он тоже был молод и влюблен и хорошо помнил это время.

— Я тут ни при чем, — сказала Коринна со своей грубоватой дорической прямотой.

— Правда? Ну, так я попробую угадать еще раз. Твой отец, Алексид?

— Да... — еле выдавил из себя Алексид. — Боюсь, он чего-то не понимает... Он... он думает, что ты дурно на меня влияешь...

— Видишь, Сократ? — перебил Ксенофонт многозначительным тоном, словно они только что говорили об этом. Он уже снова сидел на траве, лаская щенка.

— Но почему же мое влияние дурно, милый юноша?

— Ну, он говорит, что ты не веришь в богов.

— Он так говорит? — Сократ задумчиво покачал головой.

— Так говорят все Афины, — снова вмешался Ксенофонт. — Это плохо для тебя кончится, Сократ.

— Присядьте же, — сказал Сократ. — Хотя бы ненадолго, чтобы я мог объяснить.

Коринна в радость принял приглашение. Алексид несколько секунд колебался. Но ведь уйти было бы невежливо, решил он в конце концов.

— Разве ты никогда не слышал строку из Гомера, которую я люблю повторять! «Согласно достатку ты жертву богам приноси»? — Он усмехнулся. — Стал бы так говорить безбожник? Мы с Ксенофонтом всю ночь провели на пиру, и он подтвердит, что, прежде чем

совершить омовение перед завтраком, я вознес молитву Аполлону. Ты можешь заверить своего отца, что жертвы и молитвы богам я возношу именно так, как советует Гомер.

— Но ты иногда порицаешь и Гомера, — сказал Ксенофонт. — Вот это-то и опасно. У нас нет священных книг, как у некоторых варваров, но поэмы Гомера нам их почти заменяют.

— Ну конечно, я порицаю Гомера и всех поэтов вплоть до Еврипида! — Сократ снова повернулся к Алексиду. — Тебя воспитали на этих поэмах, и ты судишь о богах по ним?

— Ну, само собой разумеется...

— А какими показаны боги в этих поэмах? Ведь они ссорятся, как дети, из-за пустяков, обижаются, перепиваются, крадут, влюбляются в чужих жен — короче говоря, поступают так, как ни один уважающий себя смертный поступать не станет. Разве в этих поэмах не говорится, что Зевс силой отнял верховную власть у своего отца? Какой пример он тебе подает? Что бы сказал на это твой отец, а?

— Не думаю, чтобы эта история ему особенно нравилась, — засмеялся Алексид.

— Если боги вообще существуют, ведь они должны быть лучше смертных, а не хуже? Их благородство должно превосходить все наши представления, не правда ли? И, значит, поэты, как бы увлекательно они ни сочиняли, просто отъявленные лгуньи. Если у вас опять когда-нибудь зайдет об этом речь, попробуй объяснить своему отцу, что не верить в старые сказки — еще не значит не верить в богов.

— Если бы ты мог объяснить это всем Афинам! — с досадой воскликнул Ксенофонт.

— Я и стараюсь. Я готов толковать с каждым встречным. Но в Афинах живет много людей, а жизнь коротка.

— Вот именно! А твоя жизнь может стать еще короче, если ты и впредь будешь так же старательно обзаводиться врагами.

— Я? Врагами?

— А ты думаешь, людям нравится, когда их выставляют дураками, Сократ? Сегодня ты задеваешь Гиппия, завтра — кого-нибудь из сторонников демократии: тебе все равно, кто бы это ни был.

— Конечно, все равно. Меня интересуют идеи, а не личности. И, по-моему, если людям показать, насколько их идеи ошибочны, они будут только рады, что им помогли понять их заблуждения.

— Но люди почему-то этого не любят, — с глубокомысленным видом вставила Коринна.

Ксенофонт с благодарностью посмотрел на нее, а затем сказал серьезно:

— Мы очень беспокоимся за тебя, Сократ. Если бы люди правильно понимали твои идеи, все было бы хорошо. Но знакомы с ними лишь немногие, а остальные полагаются на слухи и сплетни. Кроме того, тебя высмеивают в комедиях, и у зрителей складывается самое неверное представление о твоих взглядах. — Он повернулся к Платону. — Ты ведь хорошо пишешь, так почему бы тебе не написать комедию, чтобы показать Сократа таким, какой она на самом деле?

Платон с улыбкой покачал головой:

— Этого я, боюсь, не сумею. Я пишу лирику. Когда-нибудь, быть может, мне удастся написать трагедию. Но только не комедию.

— Однако разница между трагедией и комедией не так уж велика, — лукаво начал Сократ, стараясь завязать отвлеченный спор и прекратить разговор о себе.

Но Ксенофонт не поддался на эту уловку.

— А все-таки тебе следует попробовать, — резко сказал он Платону. Эх, если бы я умел писать![26] — Мне очень жаль, но человек должен следовать своим естественным склонностям. Мне не под силу состязаться с Аристофаном. Конечно, я мог бы попробовать писать диалоги в духе Софрана, но введя в них философские идеи Сократа...

К несчастью, философские диалоги в духе Софрана не показывают в театре! Нам нужна не книга — на изготовление списков требуется время, а чернь вообще ничего не читает, — нам нужна комедия, которую в будущем году мог бы посмотреть каждый афинянин, комедия, которая показала бы Сократа в истинном свете снискала бы ему уважение граждан.

— Что за страшная мысль! — заметил Сократ, и его толстый живот заколыхался от смеха.

— Но она могла бы спасти тебя от беды — от изгнания или чего-нибудь похуже. Однако, раз уже это неосуществимо, постарайся вести себя потише и не наживай больше врагов.

— Я ничего не могу с собой поделать, Ксенофонт. Наверно, боги наслали меня, будто овода, будоражить Афины, и все тут.

Алексид и Коринна с сожалением вспомнили, что им пора идти. Они попрощались с Сократом и его друзьями и пошли через поля к дороге — было уже слишком поздно, чтобы следовать за извилиами Иллиса. Коринне не терпелось высказать свое мнение о новых знакомых, но Алексид был рассеян и отвечал невпопад.

— О чём ты задумался? — спросила она.

— «Овод», — сказал он медленно. — Какое хорошее название для комедии!

Глава 10

ГЕЛИЭЯ

Лето подходило к концу. На полях поблескивали серпы, и высохшие золотые колосья с шелестом падали на землю. В виноградниках по склонам гор наливались и темнели тяжелые гроздья. Запряженные волами повозки поднимали длинные густые облака белой пыли. Сухие, сморщившиеся листья на неподвижных деревьях ждали осенних ветров.

Все лето Алексид писал комедию.

Он сам удивлялся, что случайная встреча с Сократом и Ксенофонтом так на него повлияла. Словно искра зажгла уже готовый костер. Ведь перед этим он так мечтал сочинить трагедию — он даже постарался забыть, что настоящую трагедию может написать только человек, много переживший и выстрадавший, а не вчерашний школьник. Теперь он видел, что его «Патрокл» был высоким и интересным — всего лишь старательное подражание любимым поэтам-трагикам. Он писал «Патрокла» просто потому, что ему хотелось писать, а не потому, что ему надо было что-то сказать.

С «Оводом» все было по-другому. Он знал, чего он хочет и что должен сказать: «Вот каков настоящий Сократ. Не Сократ опасен для Афин, а те, кого он показывает в их подлинном виде, — самодовольные и суеверные люди, краснобаи и лицемеры».

Но сказать это просто словами было бы недостаточно. Свою мысль он должен был выразить через нелепые положения, в которые попадали его смешные персонажи, воплотить ее в веселых песенках, в шутках, в игре слов, в пародиях и острых намеках. И без всякого нажима, легко.

— Вот и со стряпней точно так же, — уверяла его Коринна. — Если у повара нет в руке легкости, он обязательно испортит блюдо.

Она вообще ему очень помогала. Прежде чем записать сочиненное, он декламировал ей все до последней строки.

— Проверяешь, словно на собаке, — шутила она, хотя никакая собака не была бы такой придирчивой... — Погоди-ка, — говорила она. — Тут у тебя получается чересчур серьезно.

Он начинал спорить, но потом убеждался, что она права. Он слишком увлекся, и сцена, как пирог в печке, «подгорела». К счастью, комедию, в отличие от питрога, можно было

переделывать по кусочкам во время печения. Можно было добавить новой начинки, а подгорелые куски выбросить и заменить более удачными.

— По правде говоря, Алексид, я просто не понимаю, как это у тебя получается, — сказала как-то Коринна.

Если она была строгим критиком, то не скучилась и на похвалы, а если нужна была ее поддержка. Никто больше не знал о комедии. Лукиан был поглощен собственными делами — он готовился к большим атлетическим состязаниям и позировал ваятелю. Кроме того, хотя они и помирились, прежней дружеской откровенности между ними уже не было, Леонт все так же и слышать не хотел о Сократе и настоял, чтобы Алексид продолжал занятия у Милона. Таким образом, часы, которые он украдкой проводил с Коринной, иногда в их тайном убежище, иногда в гостеприимной кухне Грого, были единственными его счастливыми часами в это лето, если не считать тех, когда он в одиночестве сочинял свою комедию и с головой уходил в сказочный мир «Овода».

— Не понимаю, как ты все это придумываешь, — сказала Коринна, — а потом соединяешь в одно целое.

Он попробовал объяснить. Это было нелегко. В школе он основательно изучил стихи знаменитых поэтов, их трагедии и не раз отличался в упражнениях, когда надо было воспроизвести стиль прославленного автора, подделать его излюбленные приемы, уловить характерные обороты речи или же чуть-чуть изменить какую-нибудь известную строку, но так, чтобы она получила совсем иной смысл.

— Зрители любят пародию, — уверял он Коринну с высоты своего школьного опыта. — Больше, чем учителя, — добавил он со смехом. — Мой учитель говорил, что я не почитаю великих поэтов. Один раз я даже получил за это хорошую взбучку.

Кроме того, в школе они много занимались декламацией, и это ему всегда нравилось. Пока у него не начал ломаться голос, он пел в хоре мальчиков на праздниках, да и теперь принимал участие в менее торжественных песнопениях, когда после уборки урожая юноши ходили от дома к дому, распевая веселые песни и получая за это подарки. Все это, а также частые посещения театра и внимательное изучение списков трагедий и комедий, дало ему достаточно точное представление о правилах драматургии; однако всего этого было еще мало для того, чтобы комедия после ее окончания не оказалась жалкой мальчишеской стряпней, хотя и «недурной для его возраста».

Но, по мере того как недели складывались в месяцы и первый свиток папируса уже до самого конца покрылся блестящими черными буквами — «тридцать локтей смеха», называла его Коринна, — юному автору начинало казаться, что из «Овода» может получиться кое-что получше.

Коринна любила эти часы не меньше, чем он. Когда они познакомились поближе, он понял, что и у нее есть свои горести, но только она не хочет о них говорить. С первой же их встречи у заводи, когда Лукиан принял ее за нимфу, ему всегда почему-то казалось, что она и в самом деле немножечко нимфа, пусть она была обыкновенной смертной девушкой, любящей смеяться и есть сладости, но она, как духи леса и воды, была свободна бродить, где ей заблагорассудится, и поступать, как ей вздумается. Разумеется, по сравнению с Никой и сестрами его товарищей она действительно пользовалась большой свободой. Но и у нее были свои тревоги.

— Не могу я жить в этой харчевне! — вырвалось у нее однажды.

— Почему? Ведь там так интересно — кипит жизнь, все время новые люди, суета.

Такой представлялась харчевня Алексиду. На кухне Горго можно было узнать все городские сплетни, и отсюда Алексид почерпнул немало материала для своего «Овода». Горго и не подозревала, сколько ее сочных шуток и язвительных насмешек запомнил и использовал потом тихий юноша, который скромно сидел в уголке, поджиная, пока

освободится ее дочь. Ее бесконечные рассказы о постояльцах и их рабах, ее любовь к сплетням и грубоватый юмор помогли ему справиться с теми комическими сценами, в которых требовалась непрятательная веселость. Алексид знал, что его комедию могут принять для представления, только если в ней будет пища на все вкусы. И тонкое остроумие (ему особенно нравилась сатирическая сцена, в которой длинноволосый щеголь, подозрительно смахивавший на Гиппия, оказывался истинным врагом страны), и исполненные чувства стихи, вложенные в уста хора, — стихи, ради которых он собирался писать трагедию, — и, наконец, шутки, понятные самому неискушенному сельскому зрителю.

— И было интересно, пока я была маленькой, — ответила Коринна, шевеля пальцами обутой в сандалию ноги. — Но теперь мне так не кажется. Я боюсь наших постояльцев. Есть такие... такие бесцеремонные! А мать говорит, что они просто шутят, ничего дурного у них на уме нет, и еще говорит, что я слишком много себе понимаю, а людям нашего положения это не пристало. Иногда мы с ней страшно ругаемся.

Алексида это удивило. Он не раз слышал, как Горго бранила служанку или гостя, пытавшегося улизнуть, не расплатившись, но с Коринной она как будто всегда была ласкова, а его самого встречала очень приветливо.

— Еще бы! — сказала Коринна.

— Почему «еще бы»?

Девушка смущалась:

— Конечно, ты ей нравишься, Алексид, очень нравишься, но боюсь, она была бы с тобой так же приветлива, если бы ты совсем ей не нравился. — Не понимаю.

— Видишь ли, ты же из хорошей семьи. Твой отец — афинский гражданин, и ты тоже через несколько лет станешь афинским гражданином.

— Ну и что? — Мать говорит, к гражданам нужно подлаживаться. Где бы мы ни жили, всегда было одно и то же. «Они могут вышвырнуть нас отсюда, — говорит она. — Мы не должны об этом забывать. Мы ведь чужестранки, и они считают нас хуже грязи».

— Но я не думаю так ни о тебе, ни о твоей матери! — возмутился Алексид.

— Да, конечно. Но ты пойми, Алексид, как смотрит на это мать. Ведь ей очень трудно живется. Она всегда была бедна, и ей всегда приходилось бороться с нуждой. И так будет и дальше. Видишь ли, Алексид, таким, как мы, надеяться не на что, у нас нет будущего. Он целую минуту молчал. Что он мог ответить? Прежде он никогда не задумывался над этим. Теперь, сравнив судьбу Коринны с судьбой Ники, он понял, что имела в виду девушка.

Ему было легко представить себе будущее сестры. Через год-два ей подыщут подходящего жениха. Этим займется отец, хотя, конечно, он не станет выдавать ее замуж насилино. Накануне свадьбы она торжественно посвятит Артемиде все свои детские игрушки и девичьи украшения; на следующий вечер ее торжественно отведут в дом жениха — все будут петь и осыпать их зерном; а потом будет пир и подношение подарков. После этого Ника станет хозяйкой собственного дома и рабов. Потом у нее родятся дети, и в конце концов, хоть сейчас ей это и кажется смешным, она станет бабушкой, окруженной любящими и почтительными внуками.

Но Коринну ждет другая судьба. Может быть, она и выйдет замуж, если Горго подыщет ей жениха среди афинских метеков, почти наверное бедняка: как ни красива Коринна, вряд ли найдется человек с положением, который захочет взять жену из харчевни.

— Да, это, конечно, нелегко, — сказал он смущенно. — Особенно без отца.

— Мать хочет, чтобы я ходила с флейтистками, — пробормотала она в ответ.

Алексид тревожно посмотрел на нее. Он знал, что человек, задумавший устроить пир, обращался к Горго и она за вознаграждение нанимала флейтисток и танцовщиц, чтобы развлекать его гостей. Так поступали все, и никто не видел в этом ничего дурного, но

девушек, занимавшихся этим ремеслом, презирали, были ли они рабынями или свободными.

— Тебе это не понравится, — сказал он.

— Можешь не беспокоиться! — крикнула она гневно. — Я лучше умру с голода, а не пойду!

— Не понимаю, как твоя мать может требовать от тебя этого!

— Она говорит, что мне уже пора зарабатывать свой хлеб, а я умею только играть на флейте или исполнять черную работу по дому, которой занимаются рабыни. Ведь мы, девушки, ни на что другое не годимся. Правда, — закончила она с горечью, — на флейте я играю неплохо.

Она поднесла инструмент к губам, и, слушая жалобную мелодию, Алексид восхищенно кивнул. Да, Коринна неплохо играла на флейте.

Иногда комедия вдруг переставала продвигаться. И Алексид приходил в отчаяние. Она же никуда не годится! Зачем мучиться над нею и дальше? Полторы тысячи строк! Какой труд — и все впустую! Архонт, который отбирает комедии для представления в театре, не станет ее дочитывать. Однако вскоре случилось одно событие, после которого он решил любой ценой не только закончить комедию, но и добиться, чтобы ее непременно показали на весенних Дионисиях.

— Завтра ты не пойдешь к Милону, — сказал за ужином отец.

— Хорошо, отец. А почему? — обрадованно спросил он.

— Я возьму тебя с собой в суд. Юношам полезно бывать там и знакомиться с тем, как управляет государство. С нами пойдет Лукиан. Его отец, возможно, будет вызван, как присяжный, и я обещал присмотреть за твоим другом.

— Вот хорошо-то! Это, наверно, интересно. А какое дело будет рассматриваться, отец?

— О вменяемом богохульстве.

— В что такое «вменяемое богохульство»? — спросил Теон, с наслаждением произнося эти звучные слова.

— Богохульством называются слова или поступки, оскорбляющие богов. А «вменяемое» означает, что хотя все говорят, будто человек в этом повинен, но это еще надо доказать, прежде чем его наказывать.

Алексид побледнел и спросил, с трудом заставляя свой голос звучать равнодушно:

— А кого будут судить, отец?

Он облегченно вздохнул, когда Леонт назвал незнакомое имя.

— Это, должно быть, интересно, — продолжал Леонт. — Подобные дела редко рассматриваются в суде. Последнее было много лет назад. Хотя, — закончил он многозначительно, — пожалуй, такие суды следовало бы устраивать почаше.

Сразу после завтрака они отправились на рыночную площадь, где уже собралась большая толпа — почти все пять тысяч присяжных, внесенных в списки на этот год.

— Их разбивают на десять коллегий, по пятьсот в каждой, — объяснил Леонт. — И даже утром в день суда никто еще не знает, какая коллегия будет заседать. Сейчас как раз бросают жребий.

— А все остальные только напрасно теряют время, являемся сюда!

— На это есть причина. Ведь если заранее неизвестно, какие именно присяжные будут рассматривать дело, их нельзя подкупить.

Алексид задумался, а потом спросил спокойным тоном, чуть-чуть напоминавшим тон Сократа:

— А не лучше ли набрать в присяжные честных людей, которых вообще нельзя было бы подкупить?

— Гораздо лучше, — согласился отец, — но зато и гораздо труднее.

Тут наступила глубокая тишина, и глашатай назвал коллегию присяжных, на которую пал жребий. В толпе началось движение: те, кто оказались свободными, расходились по домам, а избранные присяжные становились в очередь за раскрашенными жезлами и черепками, дававшими им право после суда получить плату.

— Это коллегия моего отца, — с гордостью сказал Лукиан. — Идемте, они всегда заседают в Среднем суде. Сейчас мы можем занять удобные места, у самой ограды.

Прошло еще полчаса, прежде чем были закончены все предварительные приготовления, совершено жертвоприношение и присяжные расположились на устланных циновками скамьях; стражники оттеснили зрителей за ограду, а старшина присяжных занял свое место на возвышении, по обеим сторонам которого находились два помоста пониже — для обвинители и обвиняемого.

— В ящичке, который открывает писец, — шепотом объяснял Леонт, — хранятся свитки с обвинением и уликами. Их запечатали после подачи жалобы.

Этот ящичек называют «ежом».

— Почему?

— Не знаю, — признался Леонт. — Так уж повелось.

— Я вечером спрошу у отца, — сказал Лукиан. — Уж он-то наверное знает.

Началось разбирательство дела. К немалой радости Алексида, оказалось, что, хотя его отец и не знал, почему запечатанный ящичек зовется ежом, он прекрасно разбирался во всех тонкостях судопроизводства. Его объяснения были точными и ясными, и он умел ответить на любой вопрос.

Однако само дело показалось Алексиду гораздо интереснее, чем судебная процедура. Одного школьного учителя обвиняли в том, что он говорил своим ученикам, будто солнце — это вовсе не бог Аполлон, который в огненной колеснице обвежает небо, а огромный, добела раскаленный шар, величиной чуть ли не во всю Грецию. И будто луна тоже не богиня Артемида, сестра Аполлона, а другой безжизненный каменный шар, отражающий свет солнца.

— Да он не в своем уме! — процедил сквозь зубы Лукиан. — Что за чепуха!

— Пожалуй, и не в своем, если учил этому в школе, — согласился Алексид. — Но, может быть, это не такая уж чепуха.

Он постарался, чтобы отец не расслышал его последних слов. С него было достаточно и возмущенного взгляда Лукиана.

Обвиняемый, защищаясь, говорил, что никогда не внушал своим ученикам, будто это предположение — истина. Да, он упоминал о том, что такое мнение существует. Он считает, что мальчиков надо приучать мыслить самостоятельно, чтобы они умели сами разбираться, где правда, а где ложь. А придумал это вовсе не он — кто угодно может купить сочинения философа Анаксагора, где такое мнение изложено очень подробно.

Среди присяжных послышался возмущенный ропот. Упоминать об Анаксагоре при подобных обстоятельствах было более чем неуместно.

— Его ведь изгнали в дни моей молодости как раз за такие разговоры, — объяснил Леонт. — Эта история наделала много шума, потому что он был другом Перикла, но даже Перикл не мог его спасти.

Разбирательство дела окончилось. Присяжные вереницей потянулись мимо урн для голосования. У каждого было два бобра: один, черный, означал «виновен», другой, белый — «невиновен». Один из них опускался в первую урну. Второй, ненужный, бросали во вторую.

Учитель был признан виновным значительным большинством голосов. Обвинитель требовал, чтобы его приговорили к изгнанию. Учитель, окруженный женой и детьми, — все они были одеты в самую старую свою одежду и горько рыдали, стараясь разжалобить судей, — просил, чтобы с него лучше взыскали штраф.

— Но почему он называет такую большую сумму? — удивился Лукиан.

— Присяжные должны выбрать то или иное наказание, но назначить сумму штрафа они не могут.

— Ах, вот как! Значит, если он попросит малого штрафа, его наверняка приговорят к изгнанию?

— Именно так.

Алексид обрадовался, когда был оглашен результат второго голосования. Учителя приговорили к штрафу.

— Но, конечно, — заметил Лукиан, — его школе конец. Какой же человек пошлет своего ребенка учиться у полоумного?

Выйдя за ограду, они встретили отца Лукиана. Он сказал, что голосовал за штраф.

— Видишь ли, — пояснил он своему негодующему сыну, — этот учитель, в конце концов, мелкая рыбешка. Судили его только для того, чтобы посмотреть, как настроен народ.

— Значит, — спросил Алексид, и сердце его сжалось, — будут и еще обвинения в богохульстве? Против... против других людей?

— Этим давно пора заняться. Надо же как-то ограждать вас, незрелых юнцов. А в наши дни болтают много всякой опасной чепухи. Свобода речей — вещь, конечно, прекрасная, но... — Он пожал плечами. — Тут нужна большая осмотрительность. Эти преступления не похожи на обычные. Все зависит от настроения народа, а оно переменчиво. Мы можем взяться за опасных смутьянов, только если будем заранее уверены, что их признают виновными. Это все очень хитрые молодчики, и если есть хоть малейшая вероятность того, что они будут оправданы, то уж лучше вовсе их не трогать — меньше будет вреда.

— Будем надеяться, что это дело послужит предостережением для остальных, — заметил Леонт. — Мне не по душе, когда людям препятствуют высказывать то, что они думают, но...

— Нет, еще нескольких таких обвинений не миновать, — заверил их отец Лукиана. — Кое-кто ждет не дождется проучить этих умников! — Он даже причмокнул от удовольствия.

А Алексид с ужасом представил себе, что пред гелиэей стоит Сократ — перед пятьюстами присяжных, столь же самодовольных и глухих ко всему новому, как отец Лукиана. А ведь Сократ не станет просить о милосердии. Если уж он предстанет перед судом, его ждет изгнание, а то и смерть.

Глава 11

Дядюшка живописец

— Я просто не знаю, Алексид, что с тобой делать!

Леонт был очень рассержен. Он бросился на ложе рядом со столом, на котором был накрыт ужин, но не прикоснулся к еде. Его жена, Ника и Теон, почувствовав в воздухе бурю, замерли на своих табуретках. Алексид, который учился есть в полулежачем положении, как полагается взрослым мужчинам, приподнялся на локте и с беспокойством посмотрел на отца.

— Не понимаю, на что ты тратишь свое время! Во всяком случае, не на атлетические упражнения.

— Я много гулял, отец, и купался, и...

— Он вовсе не бездельник, — заметила мать. — Но не могут же все наши сыновья отличаться на состязаниях.

— Я этого и не требую! — Леонт наконец с неохотой принялся за еду.

Скупо освещенную маленьkim светильником комнату наполнили аппетитный запах

жареной свинины. Они не слишком часто ели мясо, но сегодня ради праздника был принесен в жертву поросенок. Берцовые кости и немного жира были сожжены на алтаре, лучший кусок отдан жрецу, все остальное попало на кухню. «И надо же было, — думала мать, — чтобы Леонт именно сегодня вечером повстречал этого человека! Такой вкусный ужин — и никого он не радует!»

— Я давно уже не надеюсь, что Алексид когда-нибудь прославится как атлет, — продолжал Леонт, — однако я полагал, что и он по-своему станет украшением нашей семьи. Но я, кажется, ошибся.

— В чем же я провинился на этот раз?

— В чем ты провинился на этот раз? Не смей мне дерзить, мальчишка!

— Прости, отец, я не хотел...

— В дни моей юности мы не смели задавать вопросы старшим. Мы помалкивали, пока нас не спрашивали. Ты набрался этих привычек от людей вроде Сократа. Наверно, ты опять вертишься около него, хотя я тебе давно это запретил!

— Нет, отец! — с негодованием ответил Алексид.

Не раз, завидев Сократа и его друзей на рыночной площади или в гимнасии, он готов был нарушить запрет, но привычка к послушанию всегда брала верх.

— Сократ? — с интересом спросил Теон. — Это тот старик, который всегда богохульствует?

— Да! — сказал Леонт.

— Нет! — одновременно с ним воскликнул Алексид.

Случись это в другое время, оба они, наверно, рассмеялись бы, но теперь только обменялись гневными взглядами.

— А! — понимающим тоном произнес Теон. — Значит, он... этот... вменяемый богохульник.

— Не вмешивайся не в свое дело, Теон! — Голос Леонта, однако, не был строгим: Теон недавно выиграл состязание в беге, и отец пока смотрел на его выходки снисходительно.

Он снова повернулся к тому сыну, чье поведение радовало его гораздо меньше:

— Только что по дороге домой я встретил Милона.

— Я слушаю, отец.

— Он говорит, что ты пропускаешь занятия, готовишь упражнения кое-как, на занятиях сидишь с отсутствующим видом, дерзишь ему.

— Никогда не поверю, что Алексид может дерзить, — вмешалась мать. Хотя, конечно, Милон ему не нравится.

— Ну, а если ему скучно, — сказала Ника, зардевшись от собственной смелости, — значит, Милону следовало бы учить более интересно.

— Ты кончила? — спросил Леонт, сердито хмурясь. — А теперь пусть он сам говорит. Я послал его к одному из прославленных афинских софистов именно для того, чтобы он научился говорить сам за себя.

— Может быть, он и самый прославленный, но уж никак не самый лучший!

— не сдержался Алексид. — Милон просто напыщенный краснобай и обманщик. И, что еще хуже, каждый год он плодит все новых точно таких же краснобаев и обманщиков — скоро от них в городе тесно станет. Разве ты не знаешь, что Гиппий тоже учился у него? А я не хочу быть таким. Но я никогда не дерзил Милону, чему бы он нас ни учил, я только указывал на его ошибки.

— «Указывал»! Ты еще слишком молод, чтобы кому-нибудь указывать. Твое дело — стараться изо всех сил, не лениться и запоминать все, чему тебя учат.

— Отец, из меня же никогда не выйдет оратор...

— А ты пробовал добиться этого? Во всяком случае, вместо того чтобы в одиночестве

шляться по горам, ты мог бы посещать все занятия, побольше упражняться и быть почтительным с Милоном. Или я попросту ошибся в тебе и мне надо смириться с мыслью, что один из моих сыновей будет никчемным неудачником вроде моего старика дяди? Видно, имя «Алексид» приносит несчастье!

— Твой дядя Алексид очень хороший человек, — решительно заявила его жена. — Если он беден, то лишь потому, что всегда заботился о других, а не о себе.

— Это вы про дядюшку Живописца? — спросил Теон. — Я его очень люблю.

— К несчастью, — возразил Леонт, — в городе его уважают куда меньше, чем в этом доме. Надеюсь, что все мои сыновья добьются в жизни большего. Дети упрямо молчали. Они все любили старого дядю своего отца. Они давно уже прозвали его дядюшкой Живописцем, потому что он все дни проводил в гончарной мастерской, покрывая черным лаком готовые чаши и амфоры и выцарапывая по нему рисунки. Это прозвище шло к нему. «Двоюродный дедушка Алексид» звучало бы слишком сухо.

— Как бы то ни было, — сказал Леонт, — если Алексид решил, что лень и небрежность помогут ему увернуться он занятый с Милоном, он заблуждается. Ему просто придется повторить все сначала. Я уговорил Милона — надо сказать, он был рад сделать мне одолжение, — взять Алексида в ученики и на будущий год.

На смену осени подходила зима. Под свинцовыми тучами стаи журавлей летели в Египет. Потом начались дожди и свирепые ветры. Блестели омытые водой скалы, кружили в воздухе сухие листья, вздувшийся Илисс бурлил в лощине.

— Скоро мы уже не сможем приходить в пещеру, — вздохнув, сказала Коринна. — Будет так холодно! Да и дни становятся такими короткими, что не успеешь прийти сюда, как уже надо торопиться домой, пока не стемнело.

— Мы могли бы развести костер, тогда в пещере будет тепло.

Они сидели скрючившись у выхода из пещеры и смотрели, как струи дождя хлещут по скрипящим на ветру ветвям.

— Ничего, скоро опять придет весна, — утешила его Коринна. — А с ней и Великие Дионисии. Тебе надо собраться с силами и закончить свою комедию. — Я ее закончил.

— Что? Ты сочинил и последнюю сцену?

— И новые строфы хора вместо тех, которые мне не нравились. Я почти не спал ночь, все переделывал и переделывал их в уме.

— Ах, вот почему ты такой бледный, как мелом вымазанный!

— Да нет, я чувствую себя хорошо.

— А как строфы хора?

— Как будто ничего. Хотя теперь я не слишком в этом уверен.

— Ну, так прочти мне.

Алексид вытащил свиток и прочел стихи, в которые он вложил всю свою любовь к Афинам, всю гордость за них. Когда он дошел до заключительных строк, его голос дрогнул:

Фиалковый венец наш город носит,

И море синее — кайма его одежд.

Коринна молчала очень долго, и Алексид уже решил, что стихи ей не понравились. Наконец она сказала совсем тихо:

— Они прекрасны! Как, наверно, приятно чувствовать себя афинянином! Знать, что это твой родной город. Если, услышав эти строфы, зрители не... — Никакие зрители их на услышат, — с горечью перебил ее Алексид и свернул свиток. — Ее не примут к представлению.

— Но почему, Алексид? Это же так хорошо — вся комедия, хочу я сказать. Неужели ты думаешь, что все остальные обязательно будут лучше?

— Архонт ведь и в руки не возьмет комедию, написанную вчерашним школьником! Я

просто дурак, что не хотел прежде взглянуть правде в глаза. Коринна внимательно посмотрела на него. Потом схватила за плечи и так встряхнула, что мокрые волосы упали ему на лоб.

— Ты разговаривал с Лукианом! — строго сказала она.

— Нет, с его отцом.

— И ты рассказывал ему про нашу комедию?!

— Конечно, нет! Я расспросил его обиняками. Он назубок знает все законы и установления. Он сказал, что молодому человеку нечего и надеяться увидеть свою комедию в театре. «Видишь ли, милый мальчик, — Алексид с невеселой улыбкой передразнил отца Лукиана, — архонт тратит на это общественные деньги и не должен забывать, что он отвечает перед... э... теми, кто его выбрал. Какой бы хорошей ни показалась рукопись ему, как... э... частному лицу, как должностное лицо он проявит величайшую осторожность и осмотрительность...»

— Какая чепуха! — со злостью сказала Коринна.

— Однако боюсь, что он прав.

— Ты уверен? Наверно, можно найти какой-нибудь обходной путь.

— Конечно, я могу спрятать рукопись на несколько лет и представить ее на состязание, когда мне исполнится двадцать один год. Все равно шутки у меня такие старые, что могут и еще полежать.

— Перестань зубоскалить, Алексид! Ты говоришь так, будто тебе все равно.

— Но ведь так и следует поступать тому, кто пишет комедии, — смотреть на все весело.

К этому времени дождь уже перестал. Тучи разошлись, и вдруг все кругом озарилось бледным золотом осеннего солнца. Серая даль превратилась в сине-зеленое море. Над городскими кровлями встала лиловатая глыба Акрополя.

— Посмотри, — сказала Коринна и вполголоса произнесла:

Фиалковый венец наш город носит,

И море синее — кайма его одежд.

Она улыбнулась, и в глазах ее появилась глубокая уверенность.

— Ты увидаешь свою комедию в театре, — сказала она.

Однако потом она призналась, что не имела ни малейшего понятия, как можно этого добиться.

Через два дня она придумала план действий. Ей так не терпелось рассказать о нем Алексиду, что она решила перехватить его, когда он отправится к Милону, — зайти к нему домой она не решалась, опасаясь гнева его отца.

Алексида она не встретила, но зато увидела Лукиана. Нетерпение взяло верх над осторожностью, и, подбежав к нему, она дернула его за хитон.

— Лукиан! — окликнула она его, еле переводя дух.

Он оглянулся, и в его блестящих темных глазах появилась досада.

— Что тебе от меня нужно? — Мне необходимо поговорить с Алексидом! Ты ему это передашь?

Лукиан смерил ее взглядом, и, хотя его красивое лицо оставалось непроницаемым, ей показалось, что она без труда читает его мысли: нежелательное знакомство... девушка, да к тому же бедная чужестранка... следует оградить своего лучшего друга...

Однако после некоторого колебания тот ответил:

— Хорошо, я ему передам.

— Спасибо тебе!

— Ну... мне пора. Я и так опаздываю. — И, нервно оглянувшись по сторонам, багрово покрасневший Лукиан поспешил дальше чуть ли не бегом. Коринна вернулась в харчевню, решив никуда не отлучаться, пока не придет Алексид.

— Нечего шляться без дела, — такими словами встретила ее мать. — И не торчи во дворе. Зачем это ты надела свой праздничный желтый хитон? Сразу его замажешь. Иди-ка

переоденься и берись за работу, нечего даром есть хлеб.

— Ну хорошо, хорошо.

Коринна подчинилась с большой неохотой. Не потому, что не любила помогать матери стряпать — кухня зимой была очень уютным местом, — но разве приятно будет, если Алексид увидит ее в лохмотьях, красную от жара печки, с сажей на носу? Однако Горго не терпела, чтобы ей перечили. Казалось, утро никогда не кончится. Но вот тени во дворе стали совсем короткими. Приходили и уходили какие-то люди. Заслышав шаги, Коринна спешила обтереть лицо и осторожно выглядывала за дверь, но Алексида все не было.

Последнее разочарование постигло ее уже перед самым обедом. В кухню заглянул богато одетый раб. Он спросил Горго, а потом важно указал на своего хозяина, оставшегося в дворике. Горго опытным глазом сразу оценила дорогой плащ и щегольские сапожки и поспешила навстречу гостю, вытирая руки о передник.

— Ты хочешь меня видеть, господин?

— Да. Если тебя зовут Горго.

— Это мое имя, господин.

— Гм! Ну, я заглянул в твое не слишком-то благоуханное заведение потому, что хочу устроить пир и слышал, будто ты одна из самых искусных поварих в Афинах. Говорят, ты знаешь сиракузскую кухню и всякие тонкости. Горго просияла:

— Уж я постараюсь угодить господину! Я прожила в Сиракузах шесть лет, и, хоть не мне это говорить, я...

— Довольно, довольно! — Он остановил ее изящным жестом, сверкнув перстнями. — Постарайся, любезнейшая, ты об этом не пожалеешь. Ты можешь позаботиться и о развлечениях для моих гостей — ну, там, музыка, танцы... — Уж положись на меня, господин! Я подыщу для тебя самых лучших флейтисток и акробаток. Вот Хлоя — не только танцует, но и жонгирует просто на диво; а такой акробатки, как Праксилла, ты нигде не найдешь — просто не понимаю, как это у нее все получается, я бы так не смогла... Ну, правда, она потоньше будет... — Горго вся заколыхалась от смеха, и ее маленькие глазки превратились в узенькие щелочки.

— Ну, довольно. Я полагаюсь на твой выбор. Не присылай старых уродин, но и не завывай, что красота — это еще не все. Как-то у меня на пиру была флейтистка, очень красивая, но она не умела взять ни одной верной ноты... — Тут он заметил в дверях Коринну и указал на нее тростью. — Это одна из твоих девушек?

— Моя дочка, господин. Уж она-то умеет играть на флейте, как... — Тут Горго осеклась, заметив яростный взгляд Коринны. — Только очень уж она робка. Да и молода к тому же. Я ее еще не пускаю играть на пирах. — Горго обычно не стеснялась говорить неправду, но на этот раз она солгала с большой неохотой.

— Жаль, — заметил молодой человек. Затем он сообщил, в какой день он думает устроить пир и сколько гостей позовет.

— А как твое имя, господин?

Тут у входа показался Алексид. Увидев Коринну, он улыбнулся ей.

— Гиппий, — ответил молодой человек, который стоял спиной ко входу.

Ни он, ни Алексид еще не заметили друг друга.

Гиппий! Ну конечно же, самодовольный щеголь, которого Алексид передразнил в театре! Тот самый, которого так ловко высмеял Сократ, тот самый, который, как думает Алексид, поддерживает тайные сношения с изгнанным заговорщиком Магнетом!.. Коринна не стала терять времени. Она сделала знак Алексиду скорей спрятаться. Он сначала не понял, а потом, сообразив, в чем дело, мгновенно исчез за углом дома, словно кролик в норе.

Гиппий удалился важной походкой в сопровождении почтительного раба.

Горго набросилась на Коринну с упреками:

— Упустить такой выгодный случай! Другая-то мать не смотрела бы на твои капризы! Вот с такими богачами и надо ладить! А от твоего мальчишки что толку? Небось его отец в жизни не задавал этакого пира...

— Замолчи же, мать! — в ужасе умоляла Коринна: к ним, улыбаясь во весь рот, подходил Алексид.

Горго удивленно уставилась на него, а затем, не сказав больше ни слова, исчезла в кухне.

— Ловко я от него увернулся! — воскликнул Алексид. — Лукиан сказал, что ты меня искала.

— Да! — Коринна подбежала к нему, забыв, что ее нос, возможно, весь в саже. — Я кое-кого расспросила, — зашептала она взволнованно. — Ты знаешь, сколько лет было Аристофану, когда он написал свою первую комедию? Не больше, чем тебе! А предложил он ее под чужим именем... у него был друг актер, и вот он...

— Но у меня же нет друзей-актеров!

— А при чем здесь это? Лишь бы он был афинским гражданином.

Алексид задумался.

— Кого бы я мог попросить? Не всякий согласится выдать за свою комедию, которую сочинил мальчишка.

— А Ксенофонт? Он ведь хотел, чтобы кто-нибудь написал такую комедию.

— Может, он и согласится — ради Сократа. Но ведь он сам хочет заниматься литературой...

Пожалуй, к нему все-таки обращаться не стоит.

— Ну, подыщи кого-нибудь другого. Твой отец может попросить своих друзей.

Алексид прикусил губу.

— Нет, — сказал он твердо, — с отцом я об этом говорить не буду. Он только рассердится, что я тратил свое время на пустяки.

— Ну конечно, если тебе вовсе и не хочется, чтобы твоя комедия...

— Нет, хочется. Я просто думаю... Знаю! Я поговорю с дядюшкой Живописцем.

Сразу же после обеда Алексид отправился к своему двоюродному деду. В этот час послеобеденного отдыха в гончарной никого не было. Но старик, как и ожидал Алексид, сидел в углу и с увлечением занимался своей обычной работой.

— Дядюшка! Я к тебе за помощью.

— Ну что ты еще натворил? — Старший Алексид поднял на него добрые голубые глаза, но тут же снова опустил их на большой кратер[27], который стоял перед ним.

Он уже покрыл чашу черным блестящим лаком, а теперь принялся проводить внутри нее тонкие линии, вновь обнажавшие красную глину. Черта за чертой — и вот уже за нимфой в разевающихся одеждах погнался веселый сатир. Алексид стоял и дивился уверенности, с которой его дед выцарапывал фигуру на вогнутой поверхности чаши. Нельзя было заметить ни единой погрешности. На блестящем черном фоне красиво выделялись все мельчайшие детали: глаза, пальцы на руках и ногах. До чего искусен дядюшка Живописец! Как же можно называть его неудачником, когда он уже пятьдесят лет покрывает вазы и амфоры такими вот прекрасными рисунками и, наверно, нет ни одного города на Средиземном море, где не нашлось бы изделия, побывавшего в его руках!

— Рассказывай же, — подбодрил его старик, принимаясь отделять второго сатира, который вдруг стал чуть-чуть похож на его внука в минуту буйной веселости.

Алексид рассказал ему о своих затруднениях.

— И, если ты согласишься, — закончил он, — это будет самый удачный выход.

— Удачный? — Дядюшка Живописец подправил копыта сатира, его косматые ноги и

красиво изогнутый хвост. — Но ведь я никогда нечего не писал. Я только и умею, что подписывать имена на вазах — кто где изображен.

— Да я не об этом. Тебя ведь тоже зовут Алексид, а прадедушку звали Леонтом, так что ты Алексид, сын Леонта, как и я сам.

— Очень неприятное совпадение.

— Какое же это совпадение? Старших сыновей всегда называют в честь деда. Отец был старшим, вот его и назвали Леонтом.

— Но я-то тебе не родной дед.

— Конечно, а я — не старший сын. Мать назвала меня в твою честь, потому что жалела, что у тебя нет своих внуков.

— Твоя мать всегда была доброй девочкой, — заметил дядюшка Живописец, и на чаше появилась еще одна нимфа, стройная и красавая, — точь-в-точь жена его племянника в молодости.

— Так ты позволишь поставить на моей комедии твое имя? — просил Алексид. — Это ведь только для виду. Ее же все равно не примут.

— Ну уговорил. Ради нее. — Одно ловкое движение руки, и по обнаженным плечам нимфы рассыпались длинные кудри.

— Спасибо тебе, дядюшка Живописец!

Алексид пришел в такой восторг, что принялся обнимать старика, и тот смог вернуться к работе, только пригрозив внучку, что выкрасит ему нос черным лаком, если он немедленно его не отпустит.

Глава 12

АРХОНТ-БАСИЛЕВС

— А сколько времени, — вкрадчиво спросил Милон, — должна длиться хорошая речь в Народном собрании?

Алексид очнулся от задумчивости и сообразил, что вопрос обращен к нему.

— Восемь дней, — ответил он машинально.

Все вокруг захочетали, а старый софист подошел к нему и сказал со злой усмешкой:

— Да неужели, Алексид? Позволю себе заметить, что к концу такого срока слушатели несколько устанут даже от твоего прославленного красноречия.

Ученики захихикали.

— Прошу... прошу прощения. Я, наверно, задумался.

— Я так и предполагал. А о чем, мы лучше спрашивать не будем. Ну, так продолжим...

«Восемь дней», твердил про себя Алексид. Уже восемь дней ожидания — и кто знает, когда оно кончится? Восемь дней назад комедия была передана архонту-басилевсу. Быть может, именно сейчас этот почтенный муж сидит над развернутым свитком, громко хохочет, забыв о соблюдении достоинства, и даже не глядит на другие свитки, лежащие у его ног!

Ах, если бы! Но, конечно, это несбыточная мечта. У архонта есть и другие дела, кроме чтения комедий. Ведь он второе лицо в Афинах. Недаром он зовется басилевсом — этот титул восходит к седой старине, когда городом правили цари — басилевсы. Ему подведомственно все, что имеет отношение к религии, — от судов над нечестивцами и богохульниками, вроде того, на котором присутствовал Алексид, до религиозных праздников. Весенние Дионисии были только одним из таких праздников, а отбор комедий для них — лишь частью необходимых приготовлений.

Да и как бы то ни было, убеждал себя Алексид, почему он вдруг выберет «Овода»? Ему предстоит прочесть множество комедий, а отобрать он должен только три. И одна из них уж наверняка будет аристофановской. Ведь народ очень любит его комедии и он так часто

побеждал на состязаниях, что архонт просто не посмеет его обойти... Значит, для «Овода» останется только два возможных места, а не три...

— Итак, заметьте, — монотонно говорил Милон, — когда вам приходится писать речь заранее, вы должны знать, сколько строк надо написать, чтобы она продолжалась час, а сколько — чтобы она продолжалась два часа или три. Сколько примерно надо написать строк для обычной речи, произносимой в Народном собрании? Сколько строк, Алексид?

— А... э... две, — растерянно ответил Алексид, подпрыгнув от неожиданности.

— Гм! Две строки? Не коротковато ли? Теперь ты впадаешь в другую крайность. Не будешь ли ты так любезен сочинить и написать речь, которую подашь мне завтра, и не в две строки, а в двести? Темой возьми «Народное собрание считает, что молодежь должна внимательнее слушать наставления старших».

— Хорошо, — ответил Алексид, подавив тяжелый вздох.

Один день сменялся другим. Алексид совсем измучился от ожидания. И ему не с кем было поделиться своими тревогами.

Домашним никак нельзя сказать, что он подал архонту комедию. Эту тайну он не решался доверить даже Лукиану. Кроме него самого, она была известна только двум людям — дядюшке Живописцу и Коринне. Но дядюшка Живописец не принимал все это всерьез. Он даже не прочел комедии и видел в ней просто мальчишескую причуду, которая скоро будет забыта. А с Коринной он почти не виделся. Последнее время Горго встречала его уже не так приветливо, как раньше, и, хотя в ее кухне было по-прежнему тепло, от нее самой так и веяло холодом.

— И чего ты водишься с этим мальчишкой! — ворчала она на Коринну. Он болтает с тобой, будто ты ему ровня, а ты по глупости задираешь нос. Смотреть противно! То ли дело важные господа вроде Гиппия! С ними сразу знаешь, как себя держать.

Но Коринна была не очень согласна с этим. Она не забыла рассказов Алексида, Гиппий водил странные знакомства с людьми вроде Магнета, с изгнаниками, которые не смеют показываться на улицах Афин при свете дня. Как бы не пришлось ее матери когда-нибудь пожалеть, если она будет слишком привечать Гиппия!

— Хоть бы ты перестала ломаться! — продолжала ворчать Горго. — Пошла бы вместе другими на какой-нибудь его пир с своей свирелью. И тебе было бы хорошо, и мне. Совсем ты меня не жалеешь! А я-то работаю с утра до ночи, рук не покладая. И ведь выросла, кажется, а все никак образумиться не может, бегает по горам, словно коза какая-нибудь!..

— Я ведь не отказываюсь работать. Только скажи, что надо, и я все сделаю.

— И будешь своей заносчивостью отваживать от нас гостей, гордячка ты эдакая? Нет уж, спасибо, по хозяйству мне и рабыня поможет, да и толку от нее будет больше, чем от тебя. А взялась бы ты за ум, так своей флейтой могла бы хорошие деньги зарабатывать. Ты ведь и не дурочка, и всему обучена, не в пример мне, так престала бы ты только упрямиться, и, глядишь, ни одна флейтистка с тобой не сравнилась бы. Видеть не могу, как ты сама себе жизнь портишь. Вот тебе и весь мой сказ.

Коринна пожала плечами и поспешила уйти. Она все больше и больше ненавидела харчевню.

Вот будь у нее отец, жизнь была бы совсем другой! А Горго почти ничего о нем не рассказывала — говорила только, что он умер, когда она была еще несмышленой крошкой. Горго вообще не любила вспоминать прошлое, да и неудивительно: она ведь была замужем три раза, то и дело переезжала из города в город и всегда путала, где и когда что случилось. Коринна еще маленькой девочкой как-то спросила, были ли у нее братья и сестры, и мать ответила: нет, Коринна ее единственное дитя. Но много лет спустя Коринна услышала, как мать, болтая с соседкой о детях, вдруг сказала: «Вот и мой сыночек, когда родился...» Коринна, конечно, потом спросила ее: «Так, значит, у меня все-таки был брат? А что с ним

случилось? Он умер?» Горго как будто растерялась, а затем ответила: «Да, деточка. Он и жил-то всего два денька. Потому я о нем никогда и не говорю». Коринна сказала со слезами на глазах: «Я... я не знала». И теперь, когда мать была с ней резка или начинала ворчать, она всегда вспоминала этот их разговор и терпеливо сносила попреки. Ведь Горго лишилась сына, а родители всегда любят сыновей больше, чем дочерей.

Теперь они с Алексидом могли встречаться только в пещере. А зимой это была нелегкая прогулка, но уж лучше помокнуть под дождем и померзнуть, чем совсем не видеться.

— Если бы могли хоть костер развести! — как-то пожаловалась Коринна.

— Ну что ж, давай попробуем. В следующий раз я принесу углей в горшке. Хворосту кругом много. Если сейчас сложить его в пещере, то он успеет высохнуть.

— А если я сумею утащить что-нибудь из кладовой, то мы даже сможем состряпать ужин!

— Почему мы только не подумали об этом раньше!

И они тут же принялись собирать хворост. По каменоломне разнесся хруст ломающихся сухих веток. Коринне и Алексиду давно уже не было так весело, как в этот день.

В следующий раз Алексид, как и обещал, принес с собой горшок с раскаленными углями.

— Как приятно! — вздохнула Коринна, прижимая озябшие руки к его теплому глиняному боку.

Алексид высыпал угли аккуратной горкой на пол пещеры, лег рядом и принял их тихонько раздувать, а потом положил на них прутья и еловые шишки.

— А вот дуть-то следовало тебе, — сказал он, еле преводя дух и посмеиваясь.

— Почему это?

— Потому что ты привыкла дуть в свою флейту и у тебя это получилось бы лучше.

— Я буду стряпать для тебя, разве этого недостаточно?

— Сматря что у тебя получится, — шутливо проворчал он.

Костер горел прекрасно. Сквозняк вытягивал дым куда-то в глубину темного прохода, и вскоре Коринна уже раскалила на огне гладкий камень и выливалла на него жидкое тесто, которое тут же превращалось в хрустящие лепешки.

— Ну как, хорошо? — спросила Коринна, когда, покончив с угощением, они расположились поудобнее возле догорающего костра.

— Очень! Вот если бы я еще знал, как кончится дело с комедией...

— Может, мне сходить завтра в храм Диониса и принести ему жертву, чтобы он тебе помог? — предложила она. — Правда, много я дать не смогу — ведь у матери не попросишь, — но...

— Спасибо, Коринна. Только пользы от этого не будет.

— А почему? Он же покровитель театра, и это его праздник...

— Я не об этом. Правда, Сократ, говорит, что в положенное время следует приносить жертвы. Но не для того, чтобы выпрашивать милости для себя.

— Да ведь жертвы только для этого и приносят.

— Пойми, если боги все-таки существуют, они же не дети и не польстятся на подарки.

Уж если они есть, то они должны быть куда справедливее и неподкупнее людей. И в таком случае Дионис захочет, чтобы для его праздника отобрали лучшие комедии, а не те, чьи авторы не поскупились на жертвоприношения.

Однако переубедить Коринну ему не удалось. В глубине души она продолжала считать, что молитва и маленькая жертва не испортили бы дела, а, наоборот, могли бы сократить срок мучительного ожидания. Поэтому она решила, что на следующее же утро на восходе солнца она прольет на землю немного вина и тихонько попросит Диониса поторопить

архонта и не упустить одну из лучших комедий, какие когда-либо ему предлагались. Трудно сказать, помогла ли ее просьба, но, во всяком случае, на другой день произошли всякие неожиданные события.

— Нет, нет, милая, мне нужен не обед, а Алексид.

Семья как раз кончила обедать, когда в комнату, где они всегда ели в холодные зимние месяцы, торопливо вошел дядюшка Живописец. На его бородатом лице было написано беспокойство.

— А ты уверен, что ты уже обедал? — с улыбкой повторила мать Алексида.

— Да-да! То есть нет... То есть я не хочу обедать. Мне нужно только поговорить с Алексидом во дворе, если вы позволите.

Дядюшка Живописец был вне себя от волнения, и Алексид торопливо соскочил с ложа.

— Можно я выйду с ним, отец? — с тревогой спросил он.

— Что еще натворил этот мальчишка? — подозрительно спросил Леонт, внимательно посмотрев на сына.

Дядюшка Живописец с трудом овладел собой.

— Он ничего не натворил, Леонт. Откуда ты это взял? Мне просто надо поговорить с ним. Я хочу, чтобы он мне помог. У меня... у меня одно затруднение...

— А я не могу тебе помочь?

— Ну что ты, что ты! Зачем тебе беспокоиться, Леонт? Но вот если бы Алексид ненадолго пошел со мной... а то и на весь день...

— Иди, иди, Алексид, — сказал с улыбкой Леонт. — Помоги деду.

Когда они вышли, старик сказал со стоном:

— Ну и попал же я из-за тебя в беду! Да если бы я только мог предположить...

— Что случилось, дядюшка? Ты из-за... из-за комедии? Куда мы идем?

К этому времени они уже шагали по улице.

— Мы идем к архонту-басилевсу, — сказал старик тоном глубокого отчаяния.

— К архонту-басилевсу? — Сердце Алексида подпрыгнуло от радости, но тут же тревожно сжалась. — Это значит... что он догадался?

— Одни боги знают, что это значит! А я знаю только, что ко мне пришел раб и казал, что архонт-басилевс хочет меня видеть. По поводу моей комедии. «Моей комедии»! Как будто я ее хотя бы читал! Не говоря уж о том, что я ее не писал. Что я ему скажу? — В голубых глазах старика застыл ужас.

— Ты сначала послушай, что скажет тебе он, дядюшка. Постарайся его провести.

— Провести? Провести архонта-басилевса?

— Я тебе помогу...

— Очень благородно с твоей стороны! Очень великодушно!

Алексид ласково погладил его руку.

— Если дело обернется плохо, ты прямо расскажи обо мне. Я во всем признаюсь.

— Ну, посмотрим, посмотрим. — Дядюшка Живописец уже несколько оправился от испуга. — Что гадать, пока мы еще ничего не знаем... Да, ты прав, надо сначала его послушать. А я уж постараюсь не выйти из своей роли. — Он усмехнулся. — Вот видишь, я уже заговорил, как заправский актер. «Не выйду из своей роли» — так ведь?

— Ты молодец, дядюшка! — со смехом заверил его Алексид.

— Дядюшка Живописец гордо расправил плечи.

— Нам надо решить, как именно сыграть эту сцену, — сказал он. — Нет, ты только послушай: «сыграть эту сцену»! Оказывается, это вовсе и не трудно — выбирать актерские слова, а?

— Да, но не стоит чересчур уж перегибать палку.

Они приблизились к общественному зданию, где архонт-басилевс и его помощники

вершили дела государства. Оставалось только решить, как вести себя там.

Архонт-басилевс оказался величественным стариком, но в его глазах пряталась смешинка. Когда они вошли, он встал, здороваясь с ними.

— Алексид, сын Леонта? — спросил он.

— Да, почтеннейший архонт, — ответил дядюшка Живописец с уважением, но и с достоинством. Он не стал кланяться, так как архонт, в конце-то концов, был таким же гражданином Афин, как и он сам, и архонтом его выбирали только на год.

— Так садись же. А кто этот юноша?

— Мой внучатый племянник. Он... он мне кое в чем помогает.

Дядюшка Живописец сел напротив архонта, а Алексид стал рядом с ним, настороженно прищурившись.

— Признаюсь, — заметил архонт, поглаживая бороду, — прочитав комедию, я решил, что ее писала более молодая рука.

— Более молодая? — удивился дядюшка Живописец. — Ах, да! Более молодая, чем моя, хотел ты сказать.

— Разумеется. Надеюсь, ты не сочтешь мои слова за обид, — я знаю, что старость не мешает писать хорошо. Ведь Софокл создавал великие трагедии и тогда, когда ему было уже за девяносто. Однако писать он начал еще молодым. А ты, Алексид, мне кажется, уже не в тех годах, когда человек впервые представляет свою комедию на театральные состязания.

— Было бы сердце молодо, почтеннейший архонт!

В глазах архонта промелькнула улыбка.

— А твое сердце, по-видимому, полно юного жара. От души поздравляю тебя. Читая «Овода», невозможно дать его автору больше двадцати лет.

— Ну, я еще не так дряхл, как ты, кажется, думаешь.

— Отнюдь, отнюдь! Но, — продолжал архонт более серьезным тоном, — прейдем к делу. Я никак не могу решить, допустить твою комедию или нет. В ней, разумеется, есть недостатки...

— Само собой, — согласился дядюшка Живописец, по мнению Алексида, слишком уж охотно.

— Однако она обладает и незаурядными достоинствами.

— Очень лестная похвала!

Алексид застыл и только надеялся, что архонт не посмотрит на него и не заметит, как он покраснел.

— Когда я ее читал, мне показалось, что некоторые вещи будет не так-то просто показать в театре. Вот, например, корову.

— Корову? — с недоумением повторил дядюшка Живописец.

— Ну как же, дядюшка, — поспешил вмешаться Алексид. — Та смешная сцена, когда овод кусает корову и она начинает брыкаться и бегать взад и вперед.

— Вот-вот, — сказал архонт. — Как, по-твоему, можно будет это показать?

Дядюшка Живописец не знал, что и ответить. В его глазах опять появился испуг. Заметив, что он дергает себя за бороду и что-то невнятно бормочет, Алексид поторопился сказать:

— Дядюшка думал накрыть двух человек большой пятнистой шкурой. Переднему сделать маску с рогами, а второму — хвост...

— Так я и задумал! — подхватил дядюшка Живописец. — Вот смеху-то будет!

— Гм!.. По-твоему, это может получиться?

— Ну конечно, — горячо выкрикнул Алексид. — В позапрошлом году в театре показывали кентавра — двух человек, прикрытых одной шкурой.

— Неужели? — спросил архонт, бросив на него проницательный взгляд. Я не

присутствовал на тех Дионисиях — я командовал триерой...[28] Гм, гм...

Архонт задумчиво поглаживал бороду, и Алексид боялся даже дышать. Сумеют ли они обмануть его? Эти ласковые глаза были очень проницательны. И, конечно, они могут стать строгими и суровыми. Архонт привык разгадывать козни политических интриганов и лукавство чужеземных послов. Так неужели они с дядюшкой Живописцем сумеют его провести? Алексида вдруг охватил ужас перед собственной дерзостью. Почему, почему они сразу во всем не признались? Но в таком случае комедия не была бы допущена к представлению. Пусть она даже и понравилась архонту, он все же не решится оскорбить афинян, предложив им комедию, написанную безвестным мальчишкой. Вдруг архонт поднял голову и снова обратился к дядюшке Живописцу.

— Вот еще одно трудное место, — сказал он медленно. — Выход египетского раба в третьей сцене.

— Ну... конечно...

— Ах, дядюшка! Почтенный архонт, вероятно, спутал твою комедию с какой-то другой! — многозначительно воскликнул Алексид, наклоняясь вперед и предостерегающе хмуря брови. — В твоей комедии нет никакого египетского раба! Ведь так?

— Конечно, нет, — раздраженно отозвался стариk. — Я как раз это и хотел сказать. Нет в ней никакого египетского раба. А ты меня не перебивай.

— Значит, я ошибся, — любезно сказал архонт. — И неудивительно — ведь мне пришлось прочесть десятка три комедий. — Он внимательно посмотрел на Алексида. — Твой внучатый племянник, кажется, неплохой помощник. Комедию он как будто знает немногим хуже тебя самого.

— Я ее записывал, — объяснил Алексид скромно. — Глаза у дядюшки уже не те, что прежде.

— Что ж, — сказал архонт. — Я хотел задать тебе еще несколько вопросов, но, пожалуй, будет лучше, если мы обойдемся без них. — Он встал, показывая, что разговор окончен. — Я думаю, вы оба понимаете, что мне все равно, написал ли комедию дряхлый старец или... — тут он с улыбкой взглянул на Алексида, — или совсем мальчик. Но афиняне поручили мне выбрать, а они, как вам известно, народ обидчивый.

— Ну конечно, конечно, — добродушно отозвался дядюшка Живописец, хотя он не имел ни малейшего понятия, принесла комедия или нет.

Алексид облизнул пересохшие губы.

— Это... это значит, что комедия никуда не годится, что она отвергнута?

— Вовсе нет, милый юноша. Она достойна быть представленной на празднике. Я не вижу причин, которые могли бы этому помешать, и, — тут по его лицу снова скользнула улыбка, — не хочу их видеть. — Он повернулся к дядюшке Живописцу, глядевшему на него с изумлением и тревогой. — Тебе сообщат имя твоего хорега и каких актеров я тебе выделю. Актерам плачу я, но твой хорег оплатит хор и возьмет на себя все другие расходы. Тебе же, разумеется, надо будет вести репетиции и позаботиться об остальном...

— Мне? Но, боги...

— Если хочешь, можешь также сам сыграть какую-нибудь роль, — любезно предложил архонт. — Вероятно, твой внучатый племянник будет незаменим на репетициях. Он сумеет вспомнить все, что ты забудешь, и не сомневаюсь, покажет себя весьма изобретательным в любых затруднениях.

— Почтеннейший архонт, я...

— Желаю тебе удачи. И... до свидания.

Дядюшке Живописцу и Алексиду оставалось только уйти, что они и сделали.

Глава 13

Дядюшка Живописец ставит комедию

Старший Алексид посмотрел на младшего и во второй раз за этот день горестно воскликнул:

— Ну и попал же я из-за тебя в беду!

Алексид же чуть не плясал от радости.

— Дядюшка, но ведь это чудесно! Разве ты не понял? Он же принял ее!

Мою комедию! Ее покажут на празднике Дионисий! Ущипни меня, вдруг это мне только снится?

— Я бы тебя с радостью не только ущипнул! — Дядюшка Живописец почесал в затылке.

— Что же нам теперь делать?

— Как — что? Репетировать комедию.

— Опомнись! Да разве мы сумеем? Я же в этом ничего не смыслю!

— Зато я смыслю!

— Вот ты и репетириуй! — И дядюшка Живописец сердито заковылял прочь, громко стуча по земле, чтобы дать исход гневу.

Алексид догнал его и принялся уговаривать:

— Ну, дядюшка, актеры же и слушать не захотят мальчишку!

— Конечно, не захотят — они, наверно, умнее меня.

— Неужели ты теперь все испортишь? Ведь тебе надо будет просто повторять то, что я скажу.

— Надо мной будут смеяться все Афины! — ворчал стариик. — Мне проходу не дадут. «Сочинил комедию — это он-то! А когда ты сочинишь еще одну?» Вся моя жизнь переменится. Я никогда не искал славы — занимался потихоньку своим делом, и ладно, а что теперь будет? Мне до самой смерти придется играть чужую роль.

— Только до Дионисий! После праздников, если комедия понравится зрителям, мы откроем тайну, и тебя больше не будут тревожить.

— Если она будет одобрена! Ну, а если не будет? Тогда нам ради архонта придется держать язык за зубами.

Алексид смущенно кивнул:

— Да, получается, словно мы кидаем монету: выпадет богиня — я выиграл, выпадет жертвенник — ты проиграл.

Дядюшка Живописец вдруг остановился, стукнул палкой о землю и сказал с неожиданной твердостью:

— Я иду к архонту и все ему расскажу!

— И комедию не допустят к представлению!

— Ты можешь через несколько лет подать ее еще раз, от своего имени. И дядюшка Живописец, повернувшись, решительно зашагал обратно.

Алексид кинулся за ним и дернул его за плащ.

— Я не могу ждать несколько лет, — сказал он умоляюще. — «Овод» устареет, он написан специально для этих Дионисий.

— Это меня не касается, — отрезал дядюшка Живописец и, побагровев, ускорил шаг.

Алексид прибегнул к последнему средству:

— Мать так огорчится...

Старик остановился.

— Твоя мать? Почему?

— Ну, ведь она очень обрадовалась бы, если бы узнала, что я написал комедию, которую допустили к представлению. Каково же ей будет узнать, что все шло так хорошо, а ты под конец взял да и испортил дело!

Дядюшка Живописец постоял в нерешительности, повернулся, вновь стукнул палкой о

землю и пошел в сторону своего дома.

— Очень уж ты похож не свою мать, — буркнул он.

— Как так?

— Вот она тоже всегда умела заставить меня поступить по-своему.

На обратном пути они договорились, что пока не станут посвящать в свою тайну никого из родных.

— Мне, конечно, неприятно обманывать твоих родителей, — ворчал стариик, — да только есть кое-что еще неприятнее...

— Что?

— Обманывать всех остальных и знать, что твои мать и отец видят это.

И старику пришлось скрепя сердце принимать поздравления изумленных родственников и соседей.

— Просто не верится, дядя! — сказал Леонт.

— Я всегда знала, что дядюшка Живописец человек очень одаренный, хотя вы этого и не замечали, — укоризненно проговорила его жена.

— Молодец, дядюшка Живописец! — кричал Теон, прыгая вокруг него. — Ты ведь пустишь меня на репетицию, правда?

— А меня даже в театр не пустят, — уныло вздохнула Ника.

— Мы все очень гордимся твоим успехом, господин, — сказал Парменон с фамильярностью старого слуги.

Дядюшка Живописец совсем растерялся под этим градом похвал и расспросов, но все же не забыл обратиться к Леонту с просьбой, чтобы он разрешил Алексиду пропускать занятия у Милона, если мальчик будет ему нужен на репетициях. Леонт, конечно, не мог отказать старику, а Алексид решил про себя, что будет «нужен» дядюшке каждый день.

Алексиду было немножко досадно слышать, как дядюшку Живописца хвалят и поздравляют, — ведь все эти лестные слова по праву должны были бы говориться ему. Сам же дядюшка, как только немного свыкся со своей ролью, быстро вошел во вкус и забыл недавние тревоги. Без малого семьдесят лет родные считали его неудачником, и вот теперь он обнаружил, что купаться в лучах славы — довольно приятное занятие. Алексид не стал ему мешать и чуть ли не бегом направился в харчевню, чтобы поделиться новостью с единственным человеком, который знал всю правду.

Коринна как раз выходила из дверей, неся на голове пустой кувшин. Она чуть не уронила его, когда Алексид, схватив ее за руку, начал бессвязно рассказывать о случившемся.

— Как это замечательно, Алексид! — Ее лицо просияло от радости. Огляделвшись по сторонам, Коринна добавила:

— Проводи меня до источника. Мать ведь ждать не любит... Ах, как я рада! И, помоему, твой дядюшка просто прелесть.

— Еще бы! То его терзают страхи, то он вдруг приободряется, и тогда ему уже нравится делать вид, будто он сочинил комедию. Одним богам известно, как мы проведем все репетиции так, чтобы никто не догадался!

Тем временем они подошли к источнику Коринна подставила кувшин под струю, вырывавшуюся из львиной пасти. Прозрачная вода с журчанием наполнила кувшин, и Коринна, грациозным движением поставив его себе на голову, выпрямилась и повернулась, чтобы уйти.

— Если бы я могла тебе как-нибудь помочь! — сказала она.

— Ты и так мне очень помогла, — ответил он горячо. — Без тебя я, наверно, никогда не кончил бы «Овода».

На следующий день было официально объявлено, что на празднике Дионисий будут показаны комедии Аристофана, Эвполида и Алексида. Каждому из них был назначен хорег, оплачивающий все расходы. Эта обязанность возлагалась по очереди на всех самых богатых граждан Афин: каждый из них должен был либо оплатить театральное представление, либо снарядить военный корабль.

Расходы по «Оводу» должен был нести богач Конон. Когда дядюшка Живописец услышал об этом, лицо его вытянулось.

— В чем дело? — спросил Алексид. — Ты знаешь о нем что-нибудь плохое?

— Не-ет, но лучше бы нам назначили кого-нибудь другого.

— Но почему?

— Ну... — Дядюшка Живописец растерянно поскреб в затылке. — Это трудно объяснить. Видишь ли, Конона весельчиком не назовешь. Он редко бывает в Афинах... а в театр не заглядывал уже много лет...

— Вот оно что! — Алексид досадливо нахмурился: вряд ли от Конона можно было ждать большой помощи. — А где он живет?

— У него имение под Колоном, и он его почти не покидает. Говорят, он живет скромно, словно простой земледелец, но денег у него, должно быть, много. Ему ведь принадлежат серебряные рудники.

— Значит, он скряга?

— Да нет, пожалуй. В былые дни он даже славился своей щедростью. Но последние годы он живет в деревне настоящим затворником, и никто о нем толком ничего не знает. Кроме, конечно, — тут дядюшка Живописец весело усмехнулся, — государственного казначея.

— Какая таинственность! Нам надо будет сходить к нему?

— Ну, он-то, во всяком случае, не явится в город, чтобы повидать нас.

И вот в этот день вазы остались неразрисованными, а два Алексида вышли за городские ворота в поля, озаренные неярким солнцем. Был один из тех прозрачных зимних дней, когда обнаженные ветви деревьев кажутся особенно черными на фоне синего неба и одетых снегами горных вершин. Над темной вспаханной землей с резкими криками кружили белые чайки.

Наши путники миновали небольшой храм, прошли через знаменитую соловьиную рощу, теперь, правда, безмолвную, и спросили у пахаря, где им найти Конона.

— Конона? — повторил он и ткнул большим пальцем через плечо. — А вы идите вон по той дороге — по той, которая ведет к фиванской границе. Имение его в пяти стадиях отсюда. Только застанете ли вы его дома... и как он вас встретит... Ну, да сопутствует вам удача!

— И правда она нам как будто понадобится, — пробормотал Алексид.

Эти пять стадиев показались им очень длинными. Дядюшка Живописец, запыхавшись, остановился и тяжело оперся на палку. Он вдруг вспомнил, что к фиванской границе от Колона ведут две дороги. Может быть, они пошли не по той, которую имел в виду пахарь?

— Слышишь? — сказал Алексид. — Нас нагоняет какой-то всадник. Спросим у него, правильно ли мы идем.

Стук копыт становился все громче, и вот на фоне синего неба и бегущих облаков над гребнем крутого холма, с которого они только что спустились, возник всадник и тотчас остановил своего коня, как будто удивившись при виде путников. Он был высок и худ, лицо его казалось высеченным из камня, а серый жеребец был словно создан из мрамора, шелка и огня. У Алексида перехватило дыхание: на секунду ему почудилось, что перед ним возник из земли сам Посейдон, бог — укротитель коней.

Незнакомец собирался было повернуть коня и ускакать, но, когда дядюшка Живописец окликнул его, он во весь опор промчался по обрывистому склону и остановился рядом с

НИМИ.

— Так ведь и убиться недолго, — заметил дядюшка Живописец, поглядывая на опасную крутину.

Всадник бросил на старика внимательный взгляд и, по-видимому решив, что возраст дает тому право говорить все, что угодно, ответил с сухим смешком:

— Если человек не боится смерти, ему ничто не грозит. Я в этом не раз убеждался. Вы сбились с дороги?

— Да я и сам не знаю, — ответил дядюшка Живописец. — Мы ищем имение Конона...

— Я Конон.

Алексид с интересом взглянул на всадника. Он был моложе дядюшки Живописца, но гораздо старше Леонта. Теперь, когда он приблизился, стало видно, что его обветренное лицо изрезано глубокими морщинами. В далекие дни молодости он, вероятно, был очень хорош собой. Даже теперь его лицо хранило следы благородной красоты.

— Я Конон, — повторил он еще более резко и перебил их, едва они начали свои объяснения. — Я знаю. Архонт-басилевс прислал ко мне утром гонца. Сколько вам нужно?

— Ну... э... видишь ли...

— Вопрос скорее в том, — смело вмешался Алексид, — сколько нам могут дать.

Конон в первый раз поглядел на него внимательно. Его голос стал чуть мягче.

— А кто ты такой? Для его сына ты как будто молод. — И он вопросительно посмотрел на дядюшку Живописца.

— Нет, нет, — торопливо ответил тот, — я не был женат и, к моей большой печали, никогда не имел сына.

— Считай себя счастливцем. Твоя печаль могла бы оказаться куда горше, — мрачно заметил Конон.

Воцарилось неловкое молчание, и дядюшка Живописец, чтобы как-то прервать его, начал длинные и довольно бессвязные объяснения:

— Это мой внучатый племянник. Он помогает мне с комедией... У него очень ясная голова... и я взял его с собой потому, что на его память можно положиться, а я с годами что-то забывчив становлюсь...

— Это, пожалуй, не такая уж большая беда, как ты полагаешь, — сказал Конон, думая, как показалось Алексиду, о чем-то своем. Но потом, взяв себя в руки, он продолжал:

— Вы пришли издалека. Так отдохните у меня в доме, и мы обо всем там поговорим.

Он повернулся коня, и они пошли рядом. Чтобы нарушить неприятное молчание, Алексид похвалил жеребца, и Конону это было, очевидно, приятно, хотя на его угрюмом лице не появилось даже тени улыбки.

— Чем же еще заниматься в Колоне, как не разведением лошадей? — заметил он. — Ведь, если верить легенде, впервые лошадь была объезжена именно здесь, и селение было названо в честь человека, который сделал это. Загородный дом Конона был довольно велик и стоял на южном склоне скалистого холма. Над его кровлей простирались ветви могучего орехового дерева, дальше тянулся фруктовый сад — ряды старых, коряевых яблонь, а обвитая сухими виноградными лозами деревянная решетка весной, по-видимому, превращалась в красивую беседку. Но больше всего понравился Алексиду ручей, кипевший и бурливший в узкой расселине.

Конон спрыгнул с коня, бросил уздечку удивленному рабу и провел своих гостей в комнату, которая обогревалась маленький жаровней, полной раскаленных углей. Сидевшая там красивая пожилая женщина молча собрала свое рукоделие и встала, чтобы уйти, но Конон жестом остановил ее.

— Тебе незачем уходить, милая, — сказал он ласково и, повернувшись к дядюшке Живописцу, пояснил:

— Моя жена Деметрия. Мы ведем здесь простую жизнь и не соблюдаем городских обычаев. Не понимаю, почему хозяйка дома должна, словно кролик, убегать из собственной комнаты только потому, что к мужу кто-то пришел.

— Я хочу позаботиться об угощении для наших гостей, — тихим голосом сказала Деметрия и, чуть-чуть улыбнувшись, вышла, но вскоре вернулась в сопровождении служанки, которая несла вино и лепешки.

— Да ведь это же одна из моих амфор! — воскликнул дядюшка Живописец, радуясь, словно ребенок, и все стали наперебой хвалить изящные фигуры, которыми он украсил эту амфору двадцать лет назад.

— Мы ведем скромную жизнь, — сказала Деметрия, садясь. — Но мой муж любит, чтобы то немногое, чем мы пользуемся, было самым лучшим.

«Тонкая похвала», — подумал Алексид и посмотрел на двоюродного деда, который чуть не мурлыкал от удовольствия, удобно расположившись на мягкой подушке, предложенной ему из уважения к его преклонным годам. Но тут глаза Алексида встретились со спокойными серыми глазами Деметрии.

— Возьми еще лепешку, — сказала она ласково. — Сколько тебе лет? — И, услышав его ответ, вздохнула. — Неужели? Через несколько месяцев и нашему было бы столько же... — И, еще раз вздохнув, она склонилась над своим рукоделием.

— Наши гости пришли поговорить со мной о празднике. — Голос Конона вдруг снова стал резким. — А теперь, почтенный старец, не скажешь ли ты, сколько вам от меня нужно денег? Последние годы я не интересовался театральными представлениями, но я готов дать столько, сколько требуется. — Спасибо. Ты очень добр, — ответил дядюшка Живописец и с тревогой повернулся к Алексиду. — Э... я поручил моему внучатому племяннику записать главные расходы.

— Вот список, — сказал Алексид, вынимая свиток из складок хитона. — Двадцать четыре человека хора, причем корифей получает двойную плату. Один флейтист. Ну, а главным актерам платит архонт. Нам повезло с жеребьевкой: все три актера очень хорошие — Дион и...

— Боюсь, что их имена мне ничего не скажут, — быстро перебил его Конон. — Не помню, когда я в последний раз был в театре.

— Шесть лет! — внезапно сказала его жена. — Ты ведь знаешь, прошло шесть лет...

— Читай свой список дальше! — приказал Конон, и лицо его совсем помрачнело.

Алексид послушно продолжал:

— Нужны будут еще и костюмы для актеров. Я полагаю... то есть мой дедушка полагает, что их следует сделать попечнее. Поярче. Нужны будут хитоны, плащи, чулки, котурны, маски, накладные животы для толстяков... И еще особый костюм для самого Овода, а потом у нас есть «корова» с двумя людьми внутри...

— Как вы это сделаете?

— Ну, ведь есть ремесленники, которые изготавливают актерские маски и все остальное.

— Больше ничего не потребуется?

— Это главные. Потом, конечно, могут быть какие-нибудь непредвиденные расходы.

— Да-да, он записал все, что я ему говорил, — вмешался дядюшка Живописец, решив, что слишком долго оставался в тени.

— Сколько же на это потребуется денег?

Алексид назвал цифру, бросив на Конона неуверенный взгляд. К его большому облегчению, тот сказал:

— Это немного. Не ограничивайте себя понапрасну. Пусть все будет сделано как следует.

— Ты очень щедр, — сказал дядюшка Живописец.

— Я ведь не смогу взять свои деньги в могилу, не так ли? Для чего же мне их беречь? — проворчал Конон. — Я велю моему управляющему, чтобы он выдал вам, сколько нужно. А если понадобится еще, дайте мне знать.

Они встали, и Конон, положив руку на плечо Алексида, сказал дядюшке Живописцу:

— Ты, наверно, будешь очень занят, а от Афин сюда путь не близкий. Можешь вместо себя посыпать внука. Я буду рад его видеть.

— Спасибо, — с немалым облегчением ответил дядюшка Живописец. — Так, конечно, будет удобнее.

Солнце уже садилось, когда Конон вышел проводить их и указал тропку, по которой можно было пройти прямо через поля, сильно сократив дорогу. Небо на западе пылало багрянцем, и на этом фоне ели, кипарисы и далекие горы казались совсем черными.

— А он неплохой человек, если к нему присмотреться, — сказал Алексид, когда они отошли так далеко, что Конон уже не мог их услышать.

— Я все стараюсь вспомнить, что я такое о нем слышал в давние времена, когда он еще был молод, — пробормотал дядюшка Живописец. — Да-да, вот и его жена тоже... Наверно, это тот самый...

— Какой «тот самый»?

— Помнится, один Конон удивил всех, женившись не на молоденькой девушке, а на своей ровеснице — им обоим было уже под тридцать. Они любили друг друга, а не были сосватаны родителями, как это обычно делается.

— У них были дети?

— Не могу тебе сказать. Во всяком случае, долгое время детей у них не было — я знаю это потому, что они очень сильно горевали из-за своей бездетности. А что было дальше, сказать не могу.

— Наверно, все-таки у них был ребенок, — заметил Алексид. — Судя по их разговору.

— Не знаю, не знаю, — отозвался дядюшка Живописец со стоном, так как его старые ноги уже сильно разболелись от таких непривычных трудов. Однако, когда они приблизились к большой дороге, Алексид получил ответ на свой вопрос. Под темными елями поблескивал в сумерках белый мрамор скромной гробницы. Он сумел разобрать надпись на ней:

Путник, замедли свой шаг.

Я, Ликомед, здесь покоюсь,

Конона сын, осенен зеленью темной ветвей.

Девять я сладостных лет пробежал по холмам и по долам,

Ныне же кончен мой бег, ноги недвижны мои.

— Теперь я припоминаю, — тихо сказал дядюшка Живописец, — он умер от лихорадки. Да, да, так оно и было. Очень его жалко.

Алексид долгое время шел молча. Теперь он понял, почему Конон шесть лет не был в театре.

...Репетиции начались через несколько дней — как только актеры получили списки своих ролей и был нанят хор из двадцати четырех человек. И тут-то Алексид убедился, что именно хор доставит ему больше всего хлопот. Актеры были достаточно опытны, и он не сомневался, что они сумеют декламировать с должной выразительностью и сами придумают много смешных штук. Актеров выло всего трое на семь действующих лиц — младший играл сразу четыре второстепенные роли, — так что можно было не заботиться о том, как размещать их на сцене. Алексиду оставалось только представить из самим себе и надеяться на лучшее.

Однако с хором дело обстояло по-другому. Хорефты должны были двигаться медленно и размеренно, разделяться на две половины, вновь сходиться и величественной процессией

обходить оркестру, и все это требовало большой точности. Флейтист задавал им ритм, но все остальное зависело от того кто готовил представление. Алексид очень быстро понял, что тут требуется настоящая воинская дисциплина. Поддерживать ее было не по силам ни дядюшке Живописцу, ни ему самому. К его огорчению, это стало ясно с первой же репетиции. Хореяты упраялись, исподтишка смеялись над ними, а корифей Главк держался с дядюшкой Живописцем совсем уж дерзко.

Алексид пришел в отчаяние. Потом он сообразил, что у него есть только один выход: Главка надо любой ценой привлечь на свою сторону, Главк ему очень не нравился, но Алексид понимал его точку зрения: опытному предводителю хора не могло понравиться, что им командует новичок.

После репетиции Алексид заговорил с ним:

— Не надо обижаться на моего деда, — сказал он. — Он ведь очень стар.

— Так стар, что ему нечего было браться за такое дело, — с грубоватой откровенностью ответил Главк. — Не могу взять в толк, как ему удалось написать эту комедию. Сама по себе она неплоха, но он и понятия не имеет, как репетировать с хором. Беда с этими стариками — им ведь правды в глаза не скажешь.

— Конечно, — вкрадчиво поддакнул Алексид, — это, должно быть, очень неприятно для человека, который, вроде тебя, участвовал во многих представлениях и во всем хорошо разбирается. Но вот что я придумал, Главк! — Что же это?

— Видишь ли, меня-то он послушает. Так, может быть, ты скажешь мне, как, по-твоему, следует вести эти танцы? А я поговорю с дедом, да так, что он решит, будто все это он сам придумал!

Главк засмеялся:

— А ты, как я погляжу, хитрец!

Однако он даже не догадывался, насколько хитер был план Алексида: выслушивая замыслы Главка, он присоединял к ним свои собственные так искусно, что корифей этого не замечал. Дядюшка Живописец садился подальше от сцены и, когда не мог расслышать, что говорят актеры, начинал яростно размахивать руками. Словно для того, чтобы поберечь свои старые ноги, он посыпал к актерам Алексида, и тот высказывал свои мысли, притворяясь, будто исполняет поручение старика.

На дальнейших репетициях хором не деле управлял Главк, и все пошло гладко. Конечно, говорил себе Алексид, ничего особенного они сделать не сумеют, но, во всяком случае, представление получится не хуже, чем у других. И, значит, победу или поражение ему принесет сама комедия — ее собственные достоинства или недостатки. Ну что ж, да будет так!

У него теперь почти не было времени видеться с Коринной, но ей не терпелось узнать, как продвигаются репетиции, и в конце концов они договорились встретиться за городскими воротами и вместе пойти в пещеру. Недавно выпал снег, и они с удовольствием несли по очереди теплый горшок с углами.

— Бр-р-р! — сказала Коринна, дрожа от холода. — Ну ничего, скоро наступит весна.

— Слишком скоро! До Дионисий осталось только десять дней, а мы еще совсем не готовы.

Коринна потребовала, чтобы он рассказал ей все подробности — от первого посещения Конана до последней ссоры Главка с флейтистом. А что сказали в мастерской, когда он попросил изготовить корову?

— Как все это интересно! — воскликнула она. — Счастливец ты, Алексид!

А вот мне никогда ничего...

— Ш-ш-ш! — перебил он, хватая ее за руку.

К этому времени они уже перебрались через вздувшийся Илисс по заиндевелым камням, торчавшим из льдисто-зеленой воды, и приблизились ко входу в пещеру. — Кто-то побывал в нашей пещере!

Двойной след петлял между олеандрами и обрывался у подножия скалы.

— Сейчас тут никого нет, — сказала Коринна. — Это след одного человека. Он лазал в пещеру и вернулся. И это случилось до того, как вчера выпал снег.

— Да, конечно, следы ведь наполовину засыпаны.

— Ну, так идем же. Это ведь наша пещера!

Они побежали через каменолому и забрались в расселину.

— Подумать только! — сердито сказала Коринна. — Он разводил тут костер. Но нашего хвороста он не нашел. Наложил сырого валежника, так что он даже и не сгорел весь! — И она презрительно расшвыряла носком сандалии обуглившиеся ветки.

— Погоди-ка! — воскликнул Алексид. — Что это такое?

Нагнувшись, он поднял узкую полоску опаленной ткани шириной с мизинец.

— На ней что-то написано!

Глядя через его плечо, Коринна вслуш прочла буквы:

— ОАНАЕНОПКТЫ... Какая-то бессмыслица, ничего нельзя понять! — закончила она сердито.

— Нет, они что-то означают, — возразил Алексид. — Только вот что?

Глава 14

СПАРТАНСКАЯ ТАЙНОПИСЬ

— Я знаю, что это такое! — взволнованно сказал Алексид. — Это скитала!

— Что, что?

— Письмо на палочке! Так спартанцы сообщают тайные известия.

— Но как они это делают?

— Накручивают пергамент или ткань, как вот эта, на палочку виток за витком, словно повязку, а потом пишут то, что им надо, вдоль палочки, и если полоску снять, все буквы перемешиваются, как тут.

— И прочесть их можно, только если опять накрутить полоску на палочку?

— Правильно! На ту же палочку или на точно такую же.

— Но ведь мы не знаем, какая тут была палочка, — огорченно сказала Коринна и растерянно поглядела на зажатую в руке полоску ткани с буквами ОАНАЕНОПКТЫНТЯПОЕЙБПТЕИНЛПУРВГЯЧЬЛДИДИ.

Алексид тем временем осмотрел пещеру, слабо освещенную тусклым зимним солнцем, проникавшим в нее через расселину.

— Этот человек ночевал здесь. Натаскал целую кучу сухих листьев и папоротника и устроил себе постель. А тут, смотри, намусорил — бросил яичную скорлупу и обглоданную кость.

— Как он только посмел — в нашей пещере... Послушай, Алексид, как по-твоему, это был спартанский лазутчик?

— Не знаю. Но он чего-то боялся. А то с какой стати он стал бы ночевать здесь, когда до города рукой подать? Да и ближе можно найти приют в каком-нибудь селении.

— Если бы мы могли прочесть, что здесь написано!

— Можно попробовать. Но только надо набраться терпения.

— Ну, — она вскочила на ноги, — бежим собирать палки: прутья, ветки, сучья, пни...

— Не говори глупостей! Мы и без палок обойдемся. Попробуй порассуждать сама. Ведь разгадка этой тайнописи совсем не трудна, хоть тупоголовые спартанцы и воображают,

будто придумали невесть что.

— Наверно, я тоже тупоголовый спартанец, — смиренно призналась Коринна.

— Ну уж нет! Подумай немножко.

— Вот я думаю и думаю...

Алексид взял первую попавшуюся ветку потолще и два раза обернул вокруг нее полоску ткани.

— Это я только для примера, — сказал он. — Посмотрим, сколько букв расположится вокруг палки. Семь. Значит, будь это та самая палка, за первой буквой шла бы восьмая, а за ней пятнадцатая...

— ОПМ... Не слишком-то многообещающее начало!

— Это просто значит, что надо пропускать не семь букв, а больше или меньше. Если, конечно, тут нет еще какой-нибудь уловки. При таких мелких буквах промежуток не может быть равен ни двум, ни трем, ни даже четырем буквам...

— Таких тоненьких прутьев просто не бывает?

— Вот именно. Нет, он должен быть больше пяти, но меньше двенадцати, если только полоску не накручивали на древесный ствол.

— Так, значит, — весело сказала Коринна, — нам надо только посчитать буквы по-разному, пока мы не найдем правильное сочетание?

Алексид кивнул.

— Мы знаем, что это, во всяком случае, не седьмые буквы. Давай так: ты отсчитай шестые и меньше, а я попробую восьмые и больше.

Они расправили полоску и принялись глухо бормотать, словно колдуя. Но скоро Алексид испустил радостный возглас.

— Замолчи! — возмутилась Коринна. — Ты меня сбил.

— Ничего! Я уже нашел. Надо читать восьмые буквы. Вот смотри. — С этими словами он взял сучок и написал буквы на песке в углу:

ОАНАЕНОП

КТЫНТЯМП

ОЕЙБПТЕИ

НЛПУРВГЯ

ЧЬЛДИДИ

— Опять Гиппий! — воскликнула Коринна.

— Да, — мрачно ответил Алексид, читая столбики сверху вниз. — «Окончательный план будет принят в доме Гиппия».

— План чего?

— Вот это мы и должны узнать.

Алексид вспомнил все подозрения, которые мучили его почти год назад.

Он не сомневался, что их находка как-то связана с незнакомцем, которого он заметил на скачках с факелами и чью статую видел затем в мастерской Кефала.

— Это какой-то заговор, уверенно сказал он. — Гиппий, несомненно, сообщник Магнета. Говорят, Магнет последнее время жил в Спарте, а это спартанская тайнотпись. Видишь, как тут все подбирается одно к одному? В пещере ночевал либо сам Магнет, либо его гонец к Гиппию. Меня очень тревожит этот «окончательный план». Они задумали что-то недоброе.

— Захватить власть в Афинах?

Алексид кивнул.

— И это будет уже не первая такая попытка. Они попробуют свергнуть демократию, как

это может у них получиться. Но, наверно, им обещали помочь спартанцы. Спарта была бы рада уничтожить нашу демократию.

— Кому мы должны сообщить об этом? — деловито спросила Коринна.

— В том-то и трудность. — Алексид досадливо крутил в руке полоску с буквами. — Вот единственное наше доказательство. А оно ведь немногого стоит. В прошлый раз Лукиан все рассказал своему дяде, но Совет только высмеял эти подозрения. Значит, нам надо найти какие-то более убедительные доказательства, а уж потом сообщать им.

— Ты расскажешь Лукиану?

— Мне кажется, ему надо рассказать. Он ведь один раз уже помогал мне.

Не знаю, что он скажет теперь.

— Ну, одно он, во всяком случае, скажет непременно: «Не рассказывай ничего этой девчонке. Ей незачем совать нос в наши дела!» — обиженно сказала Коринна.

— Не думаю, — поколебавшись, ответил Алексид, но про себя согласился с ней.

— Вы с Лукианом уже сделали все, что могли, — настаивала Коринна, — а много ли было толку? Вы следили за Гиппием и ничего не узнали. Да и что можно было узнать на улице? Тут говорится, что все должно произойти у него в доме, а как вы туда попадете?

— Ну, мы могли бы... могли бы как-нибудь туда пробраться... или придумать еще что-нибудь.

— «Или еще что-нибудь!» — насмешливо передразнила Коринна. — А девушку, которая может войти туда совершенно открыто, не возбудив никаких подозрений, мы в помощницы брать не хотим! Пусть не сует носа в наши дела...

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— На следующей неделе перед самыми Дионисиями Гиппий устраивает еще один пир. И он пригласил всех своих влиятельных друзей. Вряд ли они попытаются захватить власть до тех пор. Наоборот, этот пир, наверно, и устраивается для того, чтобы они приняли свой «окончательный план»...

— Может быть! Я попробую забраться в дом Гиппия, спрячусь там и подслушаю...

— Перестань ребячиться, Алексид! — довольно грубо перебила его Коринна. — Это ведь не игра. Или, по-твоему, они не станут принимать никаких предосторожностей? Но, конечно, если ты хочешь, чтобы тебе перерезали глотку... В этот вечер вход в дом Гиппия непрошенным гостям будет заказан. Если и вправду там соберутся заговорщики, чтобы в последний раз все обсудить, то уж они позаботятся о том, чтобы там не было никого, кроме своих. Неужели та не понимаешь, что единственными посторонними там будут девушки — безмозглые дурочки, которые годятся только на то, чтобы осыпать гостей розами и развлекать их танцами? Или, — закончила она многозначительно, — играй на флейте.

— Что?! — с удивлением и испугом воскликнул Алексид. — Не хочешь же ты...

— Почему бы нет — ради благой цели? — решительно ответила Коринна. И не пугайся, пожалуйста. Со мной ничего плохого не случится. А если, — тут она засмеялась своим беззвучным смехом, — веселье станет чересчур уж буйным, я пожую чесноку, и никто на подойдет ко мне ближе чем на два шага. — Но все-таки... — хотя Алексид не смог удержаться от улыбки, представив себе, как гости шарахаются от благоухающей чесноком Коринны, ее план ему очень не нравился, и он попытался найти какие-нибудь возражение.

— Если это будет встреча заговорщиков, то на ней не будет ни танцовщиц, ни флейтисток.

— Нет, будут, — возразила она. — Ведь это же пир, а Гиппий всегда заботится о том, чтобы его гостей развлекали музыкой и танцами. Если он вдруг решит обойтись без них, могут возникнуть подозрения, и он это отлично понимает. Наоборот, веселье наверняка будет шумнее обычного, чтобы заговорщики могли незаметно шептаться по углам. Да и о чем мы спорим? Он ведь уже говорил с матерью и отдал все распоряжения. — Коринна встала и отряхнула одежду. — Пора идти, а то нам придется перебираться через реку в

темноте. Я, как приду домой, сразу скажу, что передумала и пойду вместе с танцовщицами.
— Она весело засмеялась. — Вот мать обрадуется!

Однако, по мере того как день пира приближался, решимость Коринны слабела. Ей была противна мысль, что она должна будет развлекать пьяных гостей Гиппия. Ее бросало то в жар, то в холод, когда она думала о том, как гости будут разглядывать ее и высказывать свое мнение о ее наружности и игре, даже не понижая голоса. Детство, проведенное в стенах харчевни, многому научило Коринну и показало ей жизнь не с самой светлой ее стороны. Только гордость мешала ей отступить. Нет, она сдержит слово, твердила себе Коринна, но только бы скорее все это осталось уже позади! Неужели день пира никогда не придет!

Алексиду было легче. У него находилось достаточно всяких других занятий. Шли последние репетиции комедии. Он метался между театром и мастерской масок, он вытаскивал дядюшку Живописца из гончарни, куда тот постоянно стремился улизнуть, чтобы провести несколько спокойных часов, чуть ли не каждый день он отправлялся в загородный дом Конона, потому что Конон вдруг заинтересовался комедией и требовал, чтобы ему подробно сообщали, как идут репетиции. С Коринной он почти не виделся, да и во время этих редких встреч они успевали обменяться только двумя-тремя словами. Она даже воскликнула в шутливом огорчении:

— Ох уж эти мне поэты! Посмотреть на тебя, так подумаешь, что на свете нет ничего важнее твоей комедии. О том, что государству грозит опасность, помню как будто только я!

Алексид недоуменно посмотрел на нее, а потом сказал с улыбкой:

— А ведь ты почти права. Странно, до чего важным представляется человеку его собственное дело. Знаешь, какая мысль первой пришла мне в голову, когда мы прочли спартанскую тайнопись?

— Конечно, знаю, — засмеялась она. — «Милосердные боги, пусть заговорщики подождут, пока не кончится представление моей комедии!»

— Да, боюсь, что это так и было. Ты чересчур хорошо меня знаешь!

— Ты не виноват. Так уж созданы поэты.

— Просто стыдно становится за собственное себялюбие, — сказал он огорченно. — Я ведь начал писать «Овода», чтобы помочь Сократу. А теперь я об этом почти и не вспоминаю. Я думаю только о том, чтобы комедия понравилась зрителям.

— Но что же тут плохого? Чем больше она им понравится, тем лучше будет для Сократа.

— Если бы так! — ответил он с жаром. — Мне страшно подумать, что с ним случится что-нибудь плохое. А этот заговор может навлечь на него еще худшую беду.

— Почему же?

— А потому, что он не хочет становиться ни на чью сторону. Он обличает то, что считает ошибками сторонников демократии, хотя и их противников тоже не щадит. Так что и те и другие, вместо того чтобы уважать его за беспристрастность, видят в нем досадную помеху. Если дело дойдет до вооруженной схватки... — Алексид умолк, не желая договаривать свою мысль. Он достаточно слышал о том, что в такие времена даже греки забывают о благородстве и великодушии.

Через два дня Коринна собиралась на пир к Гиппию, в большой дом, который он унаследовал от своего отца, Эвпатрида, расположенный недалеко от холма Ареопага. Она горячо пререкалась с матерью.

— Я этого не надену! — решительно заявила она, когда Горго принесла ей новый хитон.

— Что ты еще выдумываешь! — удивилась Горго, пропуская прозрачную серебристую ткань между мозолистыми пальцами. — Да это же настоящая косская работа! Легче

паутинки.

— Вот именно, — ответила Коринна, упрямо выставив подбородок. — А я не муха.

— Ну, если тебе хочется выглядеть замарашкой, дело твое. А в твои-то годы я бы глаз дала себе выколоть за такой вот наряд. Все танцовщицы оденутся так, но тебе, конечно, надо быть ни на кого не похожей!

Новая ссора вспыхнула из-за румян и белил. Коринна охотно позволила завить свои темные волосы и уложить их в затейливую прическу; не стала она спорить и когда Горго обрызгала ее благовониями из маленького алебастрового сосуда, хотя и улыбнулась, вспомнив про тайно запасенный чеснок. Но, когда Горго потребовала, чтобы она натерла лицо свинцовыми белилами, наложила румяна на щеки и подвела сажей брови, как делали все другие танцовщицы и флейтистки, она отказалась наотрез.

— Может, мне еще покрасить волосы или нацепить парик? — насмешливо спросила она.

— А зачем, деточка? Волосы у тебя и без каски хороши. А вот глаза не мешало бы подвести да щеки нарумянить...

— По-моему, ты воображаешь, что я военный корабль, который надо раскрасить на страх врагам!

— Я ведь только хочу, чтобы ты выглядела покрасивей, — обиженно ответила Горго. Рядом с остальными ты покажешься просто бледным заморышем — при светильниках-то. Да на тебя никто и внимания на обратит! «Вот и хорошо!» — подумала про себя Коринна, а вслух сказала, стараясь утешить мать:

— Нельзя мне краситься. Сама сообрази: когда я долго играю на флейте, мне всегда становится жарко, да еще среди такой толпы! Значит, я вспотею, и вся твоя краска потечет — хороша я тогда буду, нечего сказать!

В конце концов Горго отказалась от мысли сделать естественный румянец дочери еще более ярким, и Коринна отправилась в дом Гиппия в своем шафраново-желтом хитоне, совсем затерявшись в толпе накрашенных и разряженных танцовщиц.

Глава 15

В ДОМЕ ГИППИЯ

Пир удался на славу, как бывало всегда, когда хлопоты брала на себя Горго. Невысокие столы с остатками цыплят, фазанов, перепелов, устриц, угрей и других лакомых кушаний, изготовленных и украшенных ею по всем правилам сиракузской кухни, были вынесены из зала. Рабы быстро подмели пол и подали гостям воду для омовения рук, а затем вновь поставили между ложами столы, на этот раз ломившиеся под тяжестью блюд с фруктами, соленым миндалем, всяческими сладостями и сырами. Внесены были и амфоры с вином — красным, белым и желтым, — и с чистой водой, с которой его смешивали в больших кратерах.

Гиппий стоял среди своих гостей, высоко подняв чашу с вином, готовый выплеснуть из нее несколько капель в честь богов, как того требовал обряд. Коринна, заглядывая в дверь, подумала, что он как будто очень доволен и пиром и самим собой. Его пышные локоны были, наверно, как и ее собственные, еще совсем недавно накрученены на горячий прут. Когда он изящными жестами указывал рабам, что делать, на его пальцах вспыхивали драгоценные перстни.

— Эй, музыку! — крикнул он, и она послушно поднесла к губам свою флейту.

Гости хором затянули старинную песню, знаменовавшую, по обычаяу, начало второй половины пира. Едва они умолкли, как Гиппий произнес: «Да будет нам ниспослана удача!» — и совершил жертвеннное возлияние, а затем, перебивая шум разговоров, воскликнул:

— А теперь, любезные друзья, кого вы избираете председателем пира?

— Гиппия! — раздался хор голосов.

Покраснев от удовольствия, польщенный хозяин дома ответил:

— Я готов, если таково ваше желание! Решаю же я так: сегодня мы пьем три к двум — три части воды на две части вина — и начинаем с красного хиосского. Вы согласны? Так наливайте же чаши, и пусть зазвучит музыка!

— Это он нам, пчелка, — раздался над ухом Коринны хрипловатый шепот.

— Идемте, девушки.

Играя веселую мелодию, Коринна стояла у дверей, пока мимо нее одна за другой проплывали танцовщицы в серебристых одеяниях. Затем, подавив невольный трепет, вошла и она.

После прохладного дворика пиршественный зал показался ей очень жарким. Кое-кто из гостей спустил с плеч хитоны, их обнаженные по пояс тела блестели от пота, лица побагровели, а венки на головах уже поблекли и увяли.

"И вот это-то, — подумала Коринна, отходя в самый угол и стараясь стать как можно незаметнее, — и вот это-то «лучшие» люди Афин! У нее было достаточно времени, чтобы хорошоенько все рассмотреть. Играть ей приходилось с перерывами; когда чаши вновь наполнялись вином, музыка и танцы прекращались. Постепенно эти перерывы стали все больше затягиваться. Некоторые гости предпочитали болтать с танцовщицами, а не смотреть на них. Председателю пира Гиппию уже не удавалось добиться общей тишины, и гости постепенно разбились на несколько оживленно беседующих групп. Коринна решила, что от тех гостей, которые шутят с танцовщицами, она не услышит ничего интересного, — наблюдать следует за теми, чьи лица серьезны и чьи чаши уже давно не осушаются.

Она заметила, что Гиппий переходит от группы к группе, перебрасываясь несколькими словами с каждой из них. Собственно говоря, так и должен был вести себя хозяин, однако Коринне показалось странным, что он не подходит к тем гостям, которые собирались вокруг танцовщиц. Кроме того, судя по выражению его лица и по тому глубокому вниманию, с каким его слушали, он не просто старался занять своих друзей приятной беседой.

Коринна уже не сомневалась, что именно сейчас Гиппий прямо у нее на глазах выполняет задуманное — отдает последние распоряжения своим сообщникам.

Она любой ценой должна услышать, что он им говорит! Но как? Гиппий вел себя очень осторожно. Хотя вино разбавлялось сегодня мало, никто как будто не опьянел; правда, гости шутили, поддразнивали танцовщиц, кидали друг в друга изюмом и орехами, но все это было лишь притворством. На самом же деле здесь происходило зловещее собрание заговорщиков.

Только один раз Коринне удалось расслышать слова, которые могли иметь важное значение.

— ...Гиппий спросит его при встрече.

— Да, но когда они встретятся?

— В ночь накануне Дионисий. Ему опасно приходить в город, поэтому Гиппий отправится к нему сам.

— Вмешался третий голос:

— Я все-таки опасаюсь Совета Пятисот. Если они...

— Не беспокойся. Мы найдем ответ для них. Гиппий же сказал нам: в опочивальне его супруги!

Раздался хохот, и даже на самых серьезных лицах появилась улыбка. Коринна ничего не могла понять. В этих словах она не увидела ничего смешного. И вдруг она вспомнила: ведь Гиппий не женат! Однако это только еще больше сбило ее с толку.

Она вытянула шею, стараясь расслышать как можно больше, как вдруг, распространяя

приторный запах благовоний, к ней подошел сам Гиппий. Она вздрогнула — а вдруг он догадался!

— А, флейтисточка! Дочка Горго? Так, значит, ты наконец решила осчастливить нас своим искусством?

— Да, — пробормотала она.

— Прекрасно! Играла ты очень неплохо. Немного позже подойди к моему столу, и я научу тебя пить вино. Я хочу поболтать с тобой. Но пока я должен позаботиться о моих гостях.

Он ущипнул ее и отошел, а Коринна стала пунцовой — не от боли, конечно, а от негодования.

Некоторое время она сидела неподвижно, чувствуя себя очень несчастной. Пока ей удалось узнать только одну полезную вещь: накануне Дионисий Гиппий должен встретиться с кем-то за стенами Афин — вероятнее всего, с Магнетом. Не слишком-то много! И уж ради этого одного, конечно, не стоило переносить столько неприятностей. Может быть, уйти сейчас же и рассказать об этом Алексиду, сознавшись, что она не дождалась конца пира? Ведь даже если она и останется, ей вряд ли удастся подслушать еще что-нибудь интересное.

Вдруг глаза ее загорелись. Какая удачная мысль! Что за тайна связана с несуществующей супружкой Гиппия, а вернее, с ее опочивальней? Ведь комната-то эта существует, раз в ней можно найти «ответ» на что-то.

Гиппий холостяк и, значит, не пользуется главной спальней дома. Уверенность Коринны росла с каждым мгновением: конечно, одно из тех доказательств, которые она ищет, находится в этой комнате наверху. Только бы ей удалось пробраться туда, и тогда у нее будет полное право уйти с этого противного пира! А если Гиппий позже хватится ее и мать начнет утром браниться, можно будет придумать какое-нибудь оправдание, — например, что ей стало дурно от духоты...

Приняв это решение, она подождала, чтобы Гиппий повернулся к ней спиной, и тихонько выскользнула из зала.

Ночной воздух обжег ее разгоряченное лицо, но как приятно было вдыхать его свежесть после приторных запахов благовоний и вина! Дворик был полон рабов; кутаясь от холода в плащи, они дожидались с фонарями, чтобы проводить домой своих господ. Коринна заметила, что засов на большой входной двери задвинут. Как же ей удастся незаметно уйти отсюда?

Сняв сандалии, она стала осторожно взбираться по лестнице на второй этаж, где находились спальни и помещение для рабынь. Наверху горел один светильник, но и в его неверном мерцающем свете можно было рассмотреть богато украшенную дверь главной спальни. Сердце Коринны бешено забилось, и она тихонько потянула за ремешок щеколды. Внутри послышался легкий стук поднявшейся щеколды, но дверь не отворилась. Она была заперта: прямо перед глазами Коринны чернела пустая замочная скважина.

— Эй... кто там? — донесся с лестницы грубый оклик.

Коринна в ужасе оглянулась. Путь вниз был прегражден, но рядом уходили вверх еще ступени, и она побежала по ним. Позади слышался топот обутых в сандалии ног.

Коринна очутилась на плоской крыше. Небо было усыпано звездами, но луна еще не взошла. Вон то бледное пятно, должно быть, Акрополь, а вот тут, у самой стены дома, вздымается крутой склон холма Ареопага.

— Ты что это тут делаешь? — крикнул ее преследователь. — Воровать вздумала? Знаю я вас, бродяжек!

Коринна, повернувшись лицом к поднявшемуся на крышу рабу, молча пятилась, пока не коснулась спиной парапета. Что-то защекотало ее руку — она оглянулась и увидела мохнатую вершину молодого кипариса. Коринна посмотрела вниз. Какое счастье! С этой

стороны дом почти упирается в холм и стена не такая высокая.

Коринна бросила на землю флейту и сандалии и без колебаний кинулась в колючие объятия кипариса. Несколько страшных мгновений дерево качалось, сгибалось, словно стараясь сбросить, девушку, царапало ее и отталкивало ветвями. Она скользила по стволу, срывалась, снова хваталась за сучья и наконец, оглушенная, вся в крови, упала на землю. Кто-то выпрыгнул из мрака и помог ей встать.

— Ты не ушиблась? — спросил знакомый голос.

— Алексид! — Она чуть не заплакала от радости и облегчения.

— Я бродил тут весь вечер, — сказал он хрипло. — Очень боялся за тебя. Но, если ты не очень ушиблась, нам лучше поскорее уйти.

— Во что превратилось мое бедное платье! — сказала она жалобно, ощупывая разыскивая свои сандалии, и Алексид понял, что если она и ушиблась, то не очень больно.

На следующее утро они обсудили случившееся более спокойно. Алексид был так занят последними репетициями, что не мог выбраться в пещеру, и они договорились встретиться на лестнице, ведущей на вершину Акрополя. По ней непрерывно сновали люди, торопившиеся в Парфенон и другие храмы или возвращавшиеся оттуда, и никто не обращал внимания на юношу и девушку, которые, опершись на парапет, серьезно беседовали вполголоса.

— Они что-то задумали, это верно, — сказала Коринна. — Ты должен сообщить об этом кому там полагается.

— Я знаю. — Он стиснул кулаки и тревожно нахмурился. — Но только как их убедить? Ну посуди сама, какие у нас есть доказательства?

— Ах, вот как? Сразу видно, что тебя не было вчера в зале у Гиппия.

Это просто в воздухе носилось.

— Так-то оно так... однако в зале не было не только меня, но и членов Совета Пятисот, и архонта-басилевса, и даже дяди Лукиана, и они не знают, что там носилось в воздухе. Чтобы обратиться к ним, нам нужны доказательства. А что у нас есть? Тряпка с тайнописью. Мы-то ее разобрали, а вдруг они решат, что читать ее надо совсем по-другому?

— Если человеку объяснить, как читается эта тайнопись, а он не поверит, значит, он просто не хочет верить.

— В том-то и дело. Кое-кто из членов Совета может и не захотеть поверить.

— Но почему же?

— Их же пятьсот человек! Неужели ты думаешь, что среди них не найдется друзей Гиппия? Если бы мы могли представить веские доказательства, Совету волей-неволей пришлось бы принимать меры. А так эти сторонники Магнeta поспешат нас высмеять. Постарайся же понять, как может взглянуть Совет на наш рассказ. Что для них слова какого-то безбородого юнца и девушки, да еще к тому же не афинской гражданки? Если нам не поверят, это может плохо кончиться для тебя и твоей матери — на вас наложат штраф, а то и изгонят.

— Я думала об этом, — устало сказала Коринна. — Это будет последней каплей. Мать и так на меня зла. — Она откинула темные кудри, которые ветерок, дувший с вершины холма, сбрасывал ей на глаза. — Одним только богам известно, почему я тревожусь за судьбу Афин. Будет ли власть над ними принадлежать демократии или тирану, я-то все равно останусь презираемой чужеземкой!

Алексид не обратил внимания на ее вспышку. Он пытался привести свои мысли в порядок, как учил его Сократ.

— Какие у нас есть доказательства, кроме этой тряпки? Несколько слов, которые ты услышала вчера. И ведь никто даже не назвал Магнeta. О том, что Магнет замешан в заговоре, мы можем только предполагать... это всего лишь наша догадка.

— Но ты же видел его на скачках! Вместе с Гиппием!

— Да, я так думаю. Я в этом даже совершенно уверен. Но доказать этого я не могу. К тому же скачки были почти год назад, а мне и тогда никто не поверил.

— Но они же вчера упоминали про Совет Пятисот!

— Конечно. Говоря о делах государства, нельзя не упомянуть про Совет Пятисот. И ведь они не сказали ничего подозрительного или противозаконного — о том, что они собираются их всех убить, например.

— Они и на это способны. А то, что они говорили про опочивальню, подозрительно. И она была заперта, не забудь.

— Ну и что тут такого? Гиппий не женат, и этой комнатой никто не пользуется. Я говорю то, что ответят члены Совета, — поспешил пояснил Алексид, заметив, что Коринна обиженно нахмурилась. — А если они даже решат осмотреть эту комнату, будь уверена, что тайные друзья Гиппия в Совете успеют его предупредить. Когда эту дверь откроют, тот, кто там скрывается, или то, что там спрятано, будет уже где-нибудь в безопасном месте.

— Значит, я вчера только напрасно потратила время!

— Вовсе нет. Ты узнала еще одну очень важную вещь. В ночь перед Дионисиями Гиппий должен с кем-то встретиться — с Магнетом, конечно. До Дионисий остается четыре дня. А пока ничего страшного не случится, это ясно. Накануне праздника я буду следить за Гиппием.

— И пойдешь за ним?

— Да. И, если удача будет на моей стороне, я увижу, с кем он встретится, и смогу сообщить Совету нечто определенное.

— Я пойду с тобой...

— Ни в коем случае! — твердо сказал Алексид. — Если человек заметит позади себя тень, это его не смущит, но если их окажется две, то он, пожалуй, удивится. Нет, говоря серьезно, ты сделала уже достаточно, и теперь моя очередь. А одному мне будет легче.

Глава 16

НАКАНУНЕ

К вечеру накануне Дионисий Алексид совершенно измучился или, по крайней мере, так ему казалось. Но, когда настало время действовать, он вдруг обнаружил в себе новые силы и решимость, о которых и не подозревал. Последняя репетиция, как обычно, сопровождалась множеством неприятных неожиданностей. Все шло не так. Актеры путались или превращали бойкий диалог в подобие заупокойной молитвы. Флейтист, наоборот, играл слишком быстро, и хоревты сбивались в бесформенную кучу. Люди, изображавшие корову, свалились со сцены, так как шкура мешала им видеть как следует, и хотя, к счастью, кроме собственного самолюбия, ничего не поранили, но согласились продолжать репетицию лишь после долгих уговоров. Потом заупрямился Главк и потребовал, чтобы были внесены существенные изменения в речь, с которой он, по обычаям, должен был в середине комедии обратиться прямо к зрителям, пока все актеры оставались за сценой. Он заявил, что две шутки уже устарели и что безнадежно портят всю речь.

Алексид скрипнул зубами, сделал вид, что советуется с дядюшкой Живописцем, который, по обыкновению, восседал в одном из задних рядов, и кое-как сочинил новые шесть строк.

В довершение всего дядюшке Живописцу репетиция очень нравилась, и от то и дело громко заявлял, что все идет превосходно. Старик хохотал до слез и совсем забыл, что должен делать вид, будто все это сочинено им самим.

— Авось зрителям комедия понравится так же, как она нравится ее автору, —

язвительно заметил Главк.

Алексид уже не мог поправлять ошибки, ссылаясь на старика, — ведь все видели, с каким явным удовольствием тот следил за представлением, не желая замечать погрешностей. «А что будет завтра, — мрачно твердил себе Алексид, — когда все скамьи заполнит праздничная толпа зрителей!» Афиняне не прощают плохих представлений. Ему оставалось только молить богов, чтобы публика обошлась с бедным дядюшкой Живописцем снисходительно и не обрушила на него чего-нибудь потяжелее насмешливых слов.

Но и последняя репетиция когда-нибудь кончается, особенно если за сценой ждут участники другой комедии, представленной на состязание. И вот к вечеру Алексид побрел домой и с жадностью съел обед, поджидавший его с полудня.

— Ночевать я буду у дядюшки, — сказал он матери.

— Так ли уж это нужно?

— Конечно. Мы должны быть в театре с самого раннего утра. Ведь его комедию могут показать первой. Вдруг случится что-нибудь непредвиденное? — ответил Алексид, с ужасом вспоминая репетицию. — А кроме того, он совсем измучился от этих волнений, и, по-моему, мне следует быть рядом с ним, пока все не кончится.

— Да, милый. Разумеется, это нелегко для человека его возраста. Но сколько же у дяди оказалось разных талантов, о которых мы даже не подозревали!

Алексид уже предупредил дядюшку, так как действительно собирался провести в его доме эту ночь, а вернее — предутренние часы, когда он вернется, выследив Гиппия. Дома же его исчезновение могли заметить. Он и так чуть не попался в ночь пира: проводив Коринну до харчевни, он с помощью Теона пробрался к себе, но тут залаяла собака, отец проснулся и вышел посмотреть, в чем дело... Нет, Алексиду не хотелось, чтобы все это повторилось еще раз.

Он ломал голову и над двумя другими задачами: как не упустить Гиппия, когда тот выйдет из дома, и как остаться неузнанным. К счастью, молодой эвпатрид жил на оживленной улице, и за его дверью можно было наблюдать, укрывшись за колоннами соседнего портика. Спросив у спешившей куда-то рабыни, дома ли ее хозяин, и получив утвердительный ответ, Алексид устроился в своей засаде. Чтобы не привлекать к себе внимания и в то же время изменить свою внешность, он вымазал лицо и руки грязью и надел пастушескую одежду — рваную, засаленную овчину, неуклюжие деревянные сандалии и широкополую шляпу; рядом он положил небольшой узелок, в котором было завязано всякое ненужное тряпье. «Полезно иметь доступ к актерским костюмам», — подумал он с усмешкой.

Он сидел так до самой темноты, исподтишка поглядывая на дверь Гиппия, но прохожие видели только усталого пастуха, который отдыхает перед дальней обратной дорогой. Если бы с ним заговорили, но, к его большому разочарованию, ему так и не пришлось пустить в ход эту уловку.

Отблески последних солнечных лучей скользили по стене все выше и выше — вот они перестали озарять даже кровли, и улица погрузилась во мглу. Небо из голубого и розового стало зеленым. В верхних окнах замерцали светильники. На улице заколыхались факелы. Сумерки заливали Афины легкими лиловыми волнами.

Из дома Гиппия кто-то вышел. Это был сам Гиппий. Его сопровождали два раба. Один из них нес факел, и у обоих были посохи с железными наконечниками. Когда Гиппий проходил мимо портика, на Алексида пахнуло благовониями. Рабы следовали за хозяином на почтительном расстоянии. Забыв усталость, Алексид вскочил, вскинул узелок на плечо и пошел за ними. Первые двадцать стадиев он мог идти, ничего не опасаясь. Обсаженная деревьями дорога, которая вела от городских ворот к восточным предгорьям, кишила людьми. Гиппий важно шагал вперед, словно направляясь на пир в загородный дом какого-

нибудь приятеля, и, конечно, он не мог заметить пастушка, который брел позади среди множества таких же смутных фигур.

Но постепенно людской поток начал редеть. Над черной глыбой Гиметтского кряжа показался лимонно-желтый краешек луны, а вскоре из-за горы выплыл и весь ее диск. Темнота перестала сгущаться, когда же луна поднялась еще выше и стала серебрянной, ее свет оказался куда более ярким, чем этого хотелось бы Алексиду. Он отстал, как мог дальше, и старательно держался в густой тени кипарисов и оголенных платанов. Было так светло, что Алексид мог любоваться мерцанием снежных вершин Гиметта и Пентеликона, высоко уходящих в безоблачное небо над уступами предгорий.

Вдруг раб Гиппия погасил факел. Алексид услышал, как смолистое дерево зашипело в воде придорожной канавы. Три закутанные в плащи фигуры свернули с дороги в поля по направлению к Иллессу. Его вздувшиеся от зимних дождей воды ревели на камнях где-то совсем близко.

Алексид последовал за ними, бросив свой узелок, — теперь он был только помехой. Надо во что бы то ни стало остаться незамеченным. Если Гиппий обнаружит, что его высматривают, так или иначе все пропало.

— Ну конечно! — с торжеством пробормотал Алексид.

Деревья и скалы вокруг были ему знакомы. Хотя обычно они с Коринной ходили другим путем, он все же не сомневался, что Гиппий пробирается к заброшенной каменоломне. Да и не трудно было догадаться, что заговорщики условились встретиться в пещере, где была найдена полоска со спартанской тайнописью. Теперь же Алексид был в этом уверен.

«Если бы только знать заранее, — подумал он, — можно было бы прийти сюда еще днем и спрятаться где-нибудь в глубине пещеры». Но он тут же отбросил эту мысль. А была ли пещера днем пуста? Сообщник Гиппия мог поджидать его там с предыдущей ночи, и тогда Алексид угодил бы в ловушку. Он вздрогнул. Вряд ли рвущиеся к власти заговорщики пощадят попавшего к ним в руки соглядатая.

Теперь, поняв, куда они направляются, он свернулся и пошел через кусты привычным, давно знакомым путем. Гиппий же и его рабы знали дорогу гораздо хуже, и впереди слышался треск сухих ветвей, а молодой щеголь то и дело испускал визгливые возгласы досады. Кравшийся в стороне Алексид не сомневался, что среди такого шума никто не услышит его шагов.

Когда они достигли входа в каменоломню, их кто-то окликнул, и Гиппий назвал себя.

— Так мы и думали, — произнес грубый голос со спартанским акцентом. Этот шум давно возвестил о твоем приближении.

— О боги! Ну, даже если мы и наступили на сухую ветку, что за беда?

На много стадиев вокруг нет ни единой живой души.

— И все-таки шуметь незачем. Твои рабы пусть останутся тут и помогут нашим людям нести дозор. Магнет в пещере. Он спит — всю прошлую ночь мы плутали в горах.

Гиппий и его собеседник направился к пещере. По шепоту впереди Алексид догадался, что, кроме рабов Гиппия, там стоят еще несколько человек. Какая удача, что он знает каменоломню как свои пять пальцев! Тут, к счастью, было темно — мраморные утесы отбрасывали черные тени. Каменоломня была похожа на огромную каменную чашу, наполненную густым вином.

Вход в пещеру был озарен колеблющимся светом костра. Алексид увидел, как две темные фигуры — Гиппий и его спутник — вскарабкались на уступ. Чей-то незнакомый голос произнес приветствие, и Алексид услышал, что Гиппий с той же почтительностью, как и тогда, не скачках, ответил:

— Мне прискорбно видеть, на каком жалком ложе ты отдохнул! Но обещаю, что завтра

твоя постель будет куда удобнее.

— Не думаю, чтобы завтра кому-нибудь из нас понадобились постели, — резко поправил его Магнет. — Но вот в следующую ночь, если все кончится благополучно, нас ждет приятный отдых.

— Я это и хотел сказать. Глупая оговорка.

— Ну, так садись. Ты уже познакомился с моим достойнейшим другом спартанцем Каллибием?

— Встретились у входа, — буркнул спартанец.

— Тогда перейдем к делу. Каллибий, разумеется, посланец Спарты. Наш успех во многом зависит от помощи, которую нам окажут его город и он сам. Но об этом не следует говорить. Наши свободолюбивые сограждане весьма щепетильны, Каллибий, и очень не любят чувствовать, что чем-то обязаны чужеземцам.

— Знаю. Я помню, что мне приказано.

Троє собеседников ушли в пещеру. Теперь Алексид, притаившийся под уступом, слышал лишь глухое бормотание, которое к тому же сливалось с шумом маленького водопада. Ему оставалось только пренебречь опасностью и взобраться по сиреневому кусту к самой расселине. И снова ему помогла привычка. Он столько раз взбирался на этот куст, что его руки и ноги сразу нашли обычную опору. Ни один сучок не треснул, ни один прутик не зашуршал, когда он устроился среди веток так, что мог видеть заговорщиков, сидевших у маленького костра, и слышать каждое их слово.

— Да, — горячо говорил Гиппий Магнету, — к завтрашней ночи все подготовлено. Нельзя же упускать подобный случай.

— Лучше бы вам выждать еще месяц, — проворчал спартанец. — Нам было бы сподручнее... А впрочем... — Он пожал плечами.

— Видишь ли, — вкрадчиво объяснил Гиппий, — нам следует воспользоваться Дионисиями. Ты, наверно, не видел, как их празднуют в нашем городе?

— Нет.

— Так вот: после окончания представления, когда стемнеет, люди высыпают на улицу — это, право же, отличный праздник, — одетые в самые разные маски: тут ты увидишь и сатиров, и вакханок, и нимф, и граций... И, значит, Магнету легко будет войти в город неизвестным.

Алексид недоумевал, почему Гиппий так долго внушал ему страх. Прежде в нем, правда, чудилось что-то значительное, но теперь, рядом с суровым, умным Магнетом и угрюмым спартанцем он казался просто ничтожеством. Да, Магнет куда опаснее: красные блики костра освещали его жесткое лицо с крючковатым носом и торчащим подбородком, похожим на таран боевой триеры, — такой человек действительно способен захватить власть в городе, который его изгнал.

— Я уже объяснил все это Каллибию, — перебил он холодно, но не грубо.

«Он мирится с глупостью Гиппия, — сказал себе Алексид, — потому что тот хоть и дурак, но не во всем. И может быть очень полезным. И пока он полезен Магнету, тот будет пользоваться его услугами, ну, а потом — потом не хотел бы я очутиться на месте Гиппия... А Магнет не только жесток, но, очевидно, и очень умен. Он умеет ладить и с такими, как Гиппий, и с такими, как этот спартанец, и, уж наверное, сумеет произвести впечатление на собрание граждан...»

— Понятно, — пробурчал спартанец. — Из-за праздника люди забудут об осторожности. Будут пить вино и веселиться.

— Значит, Магнет войдет в город неизвестным, — как ни в чем не бывало продолжал Гиппий. — А кроме того, мы все сможем спрятать оружие под свои наряды и ждать сигнала.

— Вот это дело! — одобрительно сказал Каллибий, оживившись при слове «оружие».

— А хватит его на всех вас? То есть для первого нападения, пока вы не захватите государственный склад оружия?

Гиппий снова засмеялся:

— Я позабочился об этом. У меня есть двести мечей, столько же щитов, пятьдесят копий и много длинных кинжалов, которые удобно прятать под одеждой...

— Где они?

— Надежно заперты в главной опочивальне моего дома, куда никто не заходит со дня смерти моих родителей.

Алексид сильнее вцепился в гибкую ветку. Так вот ответ на загадку, доставившую столько страданий Коринне! Теперь все стало ясно, и его охватил страх. Еще день — и на улицах Афин будет литься не вино, а кровь...

Забыв про усталость, накопившуюся за этот долгий и утомительный день, не замечая судороги в ноге, зажатой в развилке, он напрягал слух, чтобы не пропустить на одной подробности плана, о котором теперь рассказывал сам Магнет.

План этот предусматривал все. Магнет не упустил ни одной мелочи.

Стойких поборников демократии решено было убить во время праздника, но некоторых должностных лиц, не отличающихся особым мужеством, заговорщики собирались пощадить, чтобы превратить их в свое послушное орудие.

В городе будут распущены зловещие слухи, чтобы народ в панике поверил, будто заговорщики гораздо многочисленнее, чем это есть на самом деле. Так что, когда на заре соберутся уцелевшие члены Совета Пятисот, никто не будет знать, кому можно довериться и кто падет следующей жертвой предательских кинжалов. И вот в эту минуту, когда демократия останется без вождей, а заговорщики захватят важнейшие здания города и запугают жителей, кто-нибудь из друзей Магнeta в Совете предложит, чтобы Магнета вернули из изгнания «ради спасения отечества», Мало кто осмелится голосовать против такого предложения.

— А если такие и найдутся, — закончил Магнет, презрительно кривя губы, — мы с ними разделаемся прежде, чем они успеют повредить нам.

Но Магнет не забыл и о том, что Афины — не только город. Отряды на границах, сказал он, будут застигнуты врасплох и разоружены прежде, чем сумеют прийти на помощь демократии. Что же касается войск, находящихся за морем, «мы напомним им, что их семьи в наших руках, — сказал Магнет. — И напомним об этом не только полководцам, но и каждому воину, который вздумает упрямиться!» Ну, а уж если заговорщики наткнутся на какое-нибудь непредвиденное препятствие, их выручит спартанское войско.

У Алексида кровь застыла в жилах: как хитро все это задумано!

Надо скорее бежать в Афины, разбудить архонта-басилевса и предупредить его о грозящей городу гибели. А если он не поверит, пусть заставит открыть спальню в доме Гиппия и увидит, что там хранится, прежде чем Гиппий вернется и успеет раздать оружие своим друзьям.

Он уже готовился соскользнуть на землю, когда Гиппий снова заговорил:

— Ах да! Я хотел бы прибавить еще одно имя к списку тех, кого мы... уберем... завтра ночью.

— Кого же?

— Сократа. Его опасно оставлять в живых. Он не из тех, кого можно подкупить или запугать. Он будет говорить, что думает... и задавать свои возмутительные вопросы... и кое-кто будет его слушать. Нам в такое время это ни к чему.

Магнет на мгновение задумался, а потом ответил:

— Согласен. Пригодиться Сократ мне не может, а он действительно опасен. Пожалуй, ему пора отправляться задавать свои вопросы в подземный мир.

Алексид не стал больше слушать. Он беззвучно скользнул вниз по стволу — прямо в объятия чьих-то сильных рук.

Глава 17

ЗАРЯ РОКОВОГО ДНЯ

— Кто это? — резко спросил Магнет, выходя на уступ. — Кого ты схватил?

— Пастушонка, господин. Одежда на нем пастушья.

— Дай-ка я не него погляжу. Эй ты, почему ты бродишь тут ночью?

Алексид перестал вырываться — раб крепко держал его, скрутив ему руки за спиной. Быстро приняв решение, он захныкал:

— Прости, господин. Я без всякого умысла. Прости. Я не знал, кто тут, — думал, может, воры подбираются к нашим овечкам...

— А почему ты догадался, что тут кто-то есть?

— Увидел костер, господин.

— И давно ты подслушиваешь?

— Я только сейчас подошел, господин, вот сейчас...

— Он врет, господин, — вмешался раб. — Он сидел на дереве. Мы его потому и увидели. Его голову осветил костер. Он глядел в пещеру. И, наверно, долго тут сидел.

Тем временем к Магнету подошли Каллибий и Гиппий. Спартанец, выхватив из костра горящую головню, нагнулся и осветил стоящих внизу. Гиппий вскрикнул:

— Это не пастух! Я его знаю. Это Алексид, сын Леонта. Он одно время болтался около Сократа. Наглый бездельник...

— Понимаю, — тихо и грозно перебил его Магнет. — Ну, Алексид, кто послал тебя подглядывать за нами?

— Никто, — угрюмо ответил Алексид.

— И ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Так ли уж часто афинские юноши из хороших семей бродят ночью по горам? Почему ты не дома, не в городе? Алексиду пришла в голову спасительная мысль.

— Тут неподалеку загородный дом моего отца, — ответил он чистую правду. — Я часто остаюсь здесь на несколько дней. И я люблю бродить ночью в темноте. Так я готовлюсь к воинской службе. Неужели только спартанским юношам позволено учиться выслеживать врага?..

— И ты для этого всегда так одеваешься? — спросил Магнет.

— Ну... — не сразу нашелся Алексид. — Я не хотел пачкать свою лучшую одежду, завтра ведь праздник...

— Он лжет, — сказал Каллибий. — Он опасен. Наверно, слышал все, о чем мы говорили. Его следует...

— Нет, — ответил Магнет. — Мы не варвары. Когда надо, мы убиваем без колебаний, но мы не проливаем кровь напрасно. Да и к тому же он еще совсем мальчик. И красивый, — добавил он с усмешкой, — если его хорошенько умыть. Свяжи ему руки, Карион, и подними сюда.

— Значит, ты готов подвергнуть опасности все дело... — сердито начал спартанец.

— Никакой опасности нет. Он останется здесь, пока все не будет кончено, и не причинит нам никакого вреда. — Магнет повернулся к Алексиду, которого тем временем уже подняли на уступ. — Тебя хватятся сегодня ночью? Алексид решил, что полезнее будет сказать правду.

— Нет.

— Тем лучше для тебя. Если рабы из вашего имения начнут рыскать тут с факелами, это

может кончиться плохо. Нам, пожалуй, придется позволить им найти тебя... со сломанной шеей. Запомни это, Алексид. Я не потерплю никаких помех моему замыслу. Быть может, я не так склонен проливать афинскую кровь, как мой спартанский друг, но, если ты попробуешь сбежать, я тебя не пощажу. Ты понял?

— Да.

— Ты пробудешь здесь два дня. — Магнет вошел в пещеру и указал на темный угол в глубине. — Ложись тут. Свяжи ему ноги, Карион.

Алексиду очень мешали связанные руки. Он с трудом опустился на колени и перекатился на бок, как больной теленок. Раб связал ему ноги.

— Лежи смирно, — сказал Магнет, — и мы тебя будем кормить, а когда все кончится, отпустим домой. Но попробуй только крикнуть, и я выдам тебя Каллибию. Мне некогда возиться с неблагодарными мальчишками.

Он и его друзья вернулись к выходу и продолжали совещаться, но теперь уже шепотом. Вскоре Гиппий попрощался и ушел. Каллибий и Магнет улеглись поперек узкого входа в пещеру. Даже не будь Алексид связан, он не смог бы выбраться наружу незамеченным.

Он лежал, и его томило отчаяние. Но к утру усталость и духота взяли верх над душевной и телесной болью. Он погрузился в тревожную дремоту, и в его снах странно мешались театральные состязания и заговор. Вот он сам выступает в своей комедии, скамьи битком набиты зрителями, но только почему-то это не театр, а каменоломня. Он хочет предостеречь зрителей, но может говорить только стихами. И вот он начинает облекать свое предостережение в стихи: очевидно, в его памяти были свежи усилия, которых ему стоили изменения в монологе Главка, — во всяком случае, еще не совсем проснувшись, он успел сочинить несколько строк в том же размере:

Афиняне! Защитники свободы, берегитесь!
Вооружитесь и на страже будьте!
Вам враг грозит с горы, как коршун кривоклювый.
Сегодня маски прячут заговор.
Ждет Гиппия в опочивальне не супруга,
Но бронза острая, которая мила
Лишь заговорщикам у врат Афин!

Они звучали в его ушах так живо, словно он вовсе и не спал; он даже услышал, как глашатай объявлял его победителем состязаний. Все зрители кричали: «Алексид! Алексид!»

Он открыл глаза и застонал, так все его тело болело от неудобной позы.

— Алексид! Алексид!

Так, значит, это не сон? Кто-то действительно произносил его имя — но тихим шепотом и у самого его уха.

Алексид хорошо знал Коринну и мог бы догадаться, что она неспроста так легко смирилась и позволила ему выселяться Гиппия в одиночку. Она просто не стала тратить время на бесплодные споры, решив про себя, что все равно потихоньку пойдет за ним. Если она будет держаться поодаль, Алексид — а уж тем более Гиппий — ничего не заметит. Ну, а в случае беды она сможет прийти ему на выручку.

Так и вышло. Коринна добралась до самой каменоломни, но побоялась ползти мимо стражи. Однако и оттуда она услышала крики, когда Алексид был обнаружен, и поняла, что его отнесли в пещеру. Но что произошло потом, ей узнать не удалось. Когда все затихло, она решила, что одна помочь ему не сможет, и помчалась обратно в Афины по залитым лунным светом полям, легконогая, словно сама охотница Артемида, — только вряд ли богиня когда-нибудь бывала такой оборванной и перепачканной.

На ее счастье, городские ворота были открыты: из окрестных селений в город уже начали стекаться люди, так как театральное представление должно было начаться сразу

после восхода солнца, а каждому хотелось занять место получше.

Коринна направилась прямо к дому Лукиана. Он все-таки был лучшим другом Алексида. И она не знала, к кому еще обратиться за помощью.

В доме уже проснулись. После некоторых препирательств Коринне удалось упросить привратника сходить за Лукианом, и тот вскоре вышел к ней, протирая глаза.

— Это ты? — возмущенно спросил он. — Да как ты...

— Я знаю, что ты меня не любишь, — решительно сказала Коринна. — Но это неважно. Алексид попал в беду.

Она шепотом объяснила ему, что Гиппий виделся с Магнетом в пещере и они схватили Алексида, когда он пытался подслушать их разговор.

Лукиан забыл обо всем, кроме опасности, грозившей его другу.

— Я сейчас же иду к отцу. Мы соберем вооруженный отряд и...

— Нет, нет. Это может кончиться плохо... для бедного Алексида, хочу я сказать. Они... — Она вздрогнула и, поколебавшись, докончила:

— Они что-нибудь сделают с ним. Или оставят его заложником, если им придется силой пробиваться к границе.

— Ты права, — ответил Лукиан и задумался.

Коринна вдруг почувствовала, что вся ее прежняя неприязнь к нему исчезла. Как он побледнел! Наверно, он все-таки очень любит Алексида.

— Надо подумать, — продолжал Лукиан. — Не удастся ли нам одним спасти его?

— Можно попробовать, — ответила она и рассказала ему свой план.

Он удивленно посмотрел на нее:

— И ты не сказала про это Алексида?

— Нет. В первый день я не хотела вам говорить. Я ведь не знала, как все потом обернется, и моя тайна могла мне пригодиться. Так уж учила меня мать, — пояснила она с виноватым видом, — не слишком-то доверять людям. Мне не хотелось, чтобы он знал, что я тогда сказала неправду.

Лукиан затянул ремни сандалий, и они незаметно выскользнули на улицу, где было уже почти светло.

— А почему ты сразу этого не сделала? — спросил Лукиан.

— Опасно. Кому-нибудь надо отвлечь их от пещеры.

— Да, конечно... Ну, во всяком случае, я рад, что ты позвала меня.

Они миновали городские ворота. Небо над Гиметтом медленно краснело, а на его снега уже лег розовый румянec.

— Алексид! Алексид! — шептала Коринна ему на ухо.

Он пошевелился, и она принялась резать ремни, связывавшие его руки. Перед собой он видел неровный клочок серого неба в рамке зубчатых краев расселины. Костер давно погас. Рядом с ним валялись плащи, сандалии и пустая амфора. Ни Магнета, ни Каллибия не было видно, но он услышал их голоса — они о чем-то возбужденно совещались у входа в пещеру.

— Я же развязала тебе ноги, — сердито шепнула Коринна. — Разве ты не чувствуешь? Да ведь они у тебя совсем затекли! — Она обхватила его за плечи и помогла встать. — Нам надо скорее уходить отсюда.

Только теперь он сообразил, в каком отчаянном положении они находятся.

— Как ты пробралась мимо них? — хрипло прошептал он. — Теперь и ты в ловушке! Ты слышишь их... нам не спастись...

— Сюда! — И она потащила его в глубину пещеры.

— Что толку? — пытался спорить он. — Они начнут искать, найдут нас, и тогда...

— Они нас не найдут. Иди за мной. Тут мы полезем вверх. Только здесь узко. Смотри не

ушиби голову.

Теперь они карабкались вверх по крутому проходу. Алексид слышал тяжелое дыхание Коринны где-то над своей головой. Потом чуть посветлело, и он уже мог различить ее спину. Когда же он в следующий раз поднял глаза, то увидел ее черный силуэт на фоне светлого пятна. Вскоре они уже выбрались на вершину скалы. Морской ветерок трепал их волосы, а кругом вздымались горы, одетые блеском солнечного утра.

— Ты мне не говорила об этом проходе, — сказал Алексид обиженно, вспомнив тот день, когда они с Лукианом собирались осмотреть пещеру с факелами, а она напугала из рассказом об обвале.

— Это была моя главная тайна. Я ведь тогда не знала, какими вы окажетесь — ты и Лукиан. Да, кстати, он сейчас где-нибудь вон там. — Она указала на лесистый склон, круто уходивший от каменоломни туда, где среди деревьев белели вспененные волны Илисса.

— Лукиан?!

— Да, он шумел там в кустах, чтобы выманить их из пещеры. Мы решили, что они наверняка все кинутся туда посмотреть, в чем дело. К счастью, так и вышло. А с Лукианом ничего не случится. Им его ни за что не поймать.

— Конечно. Но и нам лучше уйти отсюда поскорее, — сказал Алексид. Ведь они могут найти проход и броситься за нами в погоню. — Он внимательно огляделся. — Я знаю другую дорогу отсюда, которая ведет в сторону от каменоломни. Побежали?

— Побежали! Знаешь, я совсем забыла, ведь сейчас начинается представление. Сегодня же Великие Дионисии!

— Я думаю не об этом, — сказал он мрачно, когда они побежали по тропке, петлявшей в лесу. — Сегодня заговорщики попытаются захватить власть! Нам нельзя терять ни минуты.

Глава 18

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧАС

Когда они добрались до помещения для актеров, празднество уже началось. До них доносился глухой гул, напоминавший рокот моря, — это переговаривались и смеялись зрители. Первым они увидели дядюшку Живописца. Совсем растерявшийся старик бросился обнимать внука:

— Слава богам! Наконец-то ты пришел! Хорошо еще, что наша комедия самая последняя...

— Мы уже боялись, не случилось ли с тобой чего-нибудь, — произнес спокойный, ласковый голос, и Алексид с удивлением увидел перед собой улыбающегося Конона с венком на голове.

Суровый хорег постепенно заинтересовался комедией, которую оплачивал, но он ни разу не говорил о том, что собирается покинуть свое сельское уединение, чтобы посмотреть ее.

— Я решил на этот раз нарушить свой обычай и побывать в театре, — сказал он, словно чувствуя, что нужны какие-то объяснения. — Я пришел пожелать тебе удачи. — Тут он заметил одеяние Алексида и, нахмурившись, добавил:

— Но почему на тебе эти лохмотья? Ведь ты сам не собираешься выступать? И эта девушка... — Он поглядел на Коринну и вдруг умолк. — Кто ты? — спросил он хрипло. — Как... как ты сюда попала?

— Нет закона, который запрещал бы женщинам бывать в театре, это только глупый обычай, — ответила Коринна. — И у меня есть к тому же особая причина, так что не возмущайся этим.

— Я не возмущаюсь, но благовоспитанным девушкам...

Тут его перебил Алексид. Разговор о том, почему Коринна очутилась в театре, можно отложить, у них есть более важное дело. Необходимо сообщить должностным лицам о заговоре, и лучше всего это мог бы сделать Конон. Отец, дядя Лукиана и все другие его знакомые затерялись в человеческом море на скамьях амфитеатра, а от дядюшки Живописца толку будет немного. Я должен поговорить с тобой Конон, — сказал он. — Это очень важно.

И Алексид вполголоса начал рассказывать Конону все, что заныл о заговоре.

Конон, извинившись, опустился на табурет: он рано ушел из дома, отвык от людских толп, и теперь у него немного кружится голова. Он слушал, не перебивая, и лишь изредка кивал. Затем он встал и расправил складки плаща; его худое лицо стало еще более суровым.

— Какая гнусность! — сказал он.

— Кому мы должны рассказать об этом? Архонту-басиевсу?

Конон покачал головой.

— Это дело коллегии стратегов. Их, как ты знаешь, десять, и они исполняют свои обязанности по очереди. Я не знаю, кто из них командует сегодня, но это и неважно. Они все сидят в первом ряду вместе с архонтами. — А можно к ним подойти?

— Да, я могу это сделать. Мое место неподалеку — я ведь хорег комедии твоего деда. Вот что, — решительно продолжал Конон. — Я попробую поговорить с ним, когда кончится первая комедия. Перерыв будет длинным, и я попрошу его прийти сюда. А пока, — закончил он, бросив многозначительный взгляд на овчину Алексида, — поищи себе более праздничный наряд. Надо выказать Дионису больше почтения, не так ли?

Взрыв рукоплесканий возвестил об окончании первой комедии, и Конон ушел. Хор, едва покинув оркестру, тут же нарушил торжественный строй, и помещение наполнилось множеством людей: хоревты и актеры, занятые во всех трех комедиях, не говоря уж о трех соперниках-поэтах, их друзьях, флейтистах, театральных машинах и прочих. Понимая, что Конан в любую минуту может вернуться сюда со стратегом, Алексид шарил повсюду, пока не нашел наконец довольно чистый хитон, пару сандалий на не слишком толстой подошве и свободное местечко в уголке за дверью, где он мог быстро переодеться и навсегда сбросить с себя овчину. Она уже сослужила свою службу.

— Тебе нужен еще венок, — сказала Коринна, заглядывая в дверь. — Вот, держи.

— Где ты его взяла?

— Нашла, — ответила она лукаво. — Но мне лучше отсюда уйти, на меня все косятся.

— А куда ты пойдешь? — спросил он, надевая венок. — Где мне тебя искать, когда все кончится?

— Как — где? У меня дома! Самое место для «благовоспитанной девушки»!.. А Конон мне очень понравился. Он такой вежливый... Ах, вон он идет! Прощай, Алексид... желаю тебе удачи!

Она убежала, а Алексид вышел за дверь навстречу Конону. Тот приближался к нему вместе с человеком средних лет, в котором нетрудно было угадать опытного воина. Разговаривать внутри было бы невозможно — в перерыве между комедиями там стоял оглушительный шум.

— Вот этот юноша, почтенный стратег, — сказал Конон. — Уверяю тебя, на него можно положиться.

Алексид расправил плечи и смело встретил испытующий взгляд проницательных серых глаз.

— Сын Леонта, атлета, если не ошибаюсь? — отрывисто сказал стратег. Что же, юноша, ты оказал Афинам большую услугу. Но времени терять нельзя. Он засыпал Алексида вопросами, на которые тот отвечал быстро и уверенно. Однако из главных заговорщиков, кроме Гиппия, он мог назвать лишь двух-трех, которых Коринна заметила на пиру.

— Гм! — пожевал губу стратег. — В том-то и трудность.

— Какая?

— Ну, предположим, мы после конца представления схватим тех, кого ты назвал. А что сделают остальные? Если они достаточно сильны, они приведут свой план в исполнение и нанесут удар, не медля, и, значит, на улицах Афин сегодня начнется братоубийственная резня, милый юноша, а ее лучше бы избежать, пусть даже мы и победим благодаря твоему своевременному предупреждению.

— Может быть, они не посмеют, — с надеждой сказал Алексид.

— Тогда они затаются, и мы так и не узнаем, кто это. И, значит, резня начнется не сегодня, а через полгода или через год, когда они вновь соберутся с силами. Понимаешь, юноша? Вот если бы мы могли захватить их всех разом!

— Надо придумать какую-нибудь хитрость, — сказал Конон, — чтобы они сами себя выдали. Я помню одно старинное предание о царе, который знал, что среди его приближенных есть заговорщики, но не знал, кто именно. Он приказал рабу вбежать в пиршественный зал и закричать: «Все открыто!» — а сам по выражению их лиц...

— Да, да, помню, — с досадливым смешком ответил стратег. — Но не хочешь же ты, чтобы мы проделали то же самое в театре? Ведь и Гиппий и его друзья сейчас здесь — его я видел собственными глазами. Но мы не можем наблюдать за выражением тысяч лиц...

— Конечно, нет, почтенный стратег. Я не говорю, что следует пустить в ход именно эту хитрость. Надо придумать что-нибудь более соответствующее обстоятельствам, но, признаюсь, мне ничего не приходит в голову.

— Нашел! — вдруг воскликнул Алексид. — Если Гиппий в театре, значит, он не знает, что я спасся. Магнет, может быть, и послал к нему вестника, но тот не сумеет разыскать его в этой толпе — ему придется ждать конца представления. Но если бы Гиппия все-таки предупредили, что заговор раскрыт, стал бы он и дальше смотреть комедию?

— Вряд ли, — сухо заметил стратег. — Думаю, что он немедленно попробовал бы бежать в Спарту.

— И все заговорщики последовали бы его примеру, — особенно если бы они заметили, что он очень торопится?

— Конечно! Крысы все вместе бегут с тонущей триеры. Но как же мы можем этого достичь? Надо во что бы то ни стало избежать беспорядков в театре. Ведь это же праздник в честь бога Диониса!

— Мы можем предостеречь всех заговорщиков разом и так, что никто, кроме них самих, тебя и других стратегов, не поймет, о чем идет речь.

— Как же это можно сделать, юноша?

Глаза Алексида засияли.

— С орхестры! Ты поставь стражу у всех выходов, и пусть они хватают каждого, кто попробует уйти с моей комедии. А я сочиню такие строки, что все заговорщики кинутся без оглядки улепетывать к границе.

Когда Главку было приказано в последнюю минуту выучить еще семь строк, он принял было ворчать, но стратег быстро его образумил. Он будет говорить то, что велит ему младший Алексид, и не изменит ни одного слова. И чтоб никто ничего не знал об этих новых строках до тех пор, пока они не будут произнесены с орхестры!

— Смотри не бормочи их вслух, пока учишь, — предупредил стратег. — Ни с кем о них не советуйся и даже не думай о них. Только произнеси их в положенное время, да так, чтобы их хорошо расслышали даже на самом верху амфитеатра. Речь идет о жизни и смерти. И, если из-за тебя что-нибудь выйдет не так, тебя будут судить за государственную измену, это я тебе обещаю, — закончил он грозно.

«Хорошо, — подумал Алексид, — что Главк уже давно выступает предводителем хора:

новичок до смерти перепугался бы непонятных угроз стратега и все перепутал бы». Но актерская гордость Главка была задета, и он с достоинством ответил, что, разумеется, произнесет любые порученные ему строки со всем тщанием и четкостью.

— Ну, смотри же, — сказал стратег и добавил, обращаясь к Алексиду:

— Из-за тебя, милый юноша, мне не придется досматривать представление. Очень жаль. Мне было бы любопытно посмотреть последнюю комедию — никак не могу понять, кто ее сочинил.

Он ушел, чтобы заняться необходимыми приготовлениями. Надо было расставить стражу у выходов из театра, закрыть городские ворота, поставить охрану у всех важнейших зданий и захватить оружие, спрятанное в доме Гиппия. Вторая комедия уже началась, и в его распоряжении было не больше двух часов.

Тем временем Алексид торопливо писал на восковой табличке. Странно, как хорошо он помнит строки, сочиненные в полусне! Правда, они довольно корявы, но зато в них сказано все, что нужно. Заговорщики наверняка поймут из, узнают крючковатый нос Магнета в «кривоклювом коршуне» и сообразят, что все их замыслы раскрыты — и захват государственного оружия, и использование праздничных масок, и тайный склад мечей и кинжалов. Во сне разум способен на странные вещи. Может, Платон был и не таким уж безумцем, когда утверждал, что дух спящего человека бродит по неведомым мирам — сновидениям?

— Вот, бери, Главк, — сказал он, протягивая дощечку корифею. — И никому ее не показывай! Помнишь, что говорил стратег?

— Помню, — угрюмо отозвался предводитель хора.

Кончилась вторая комедия. А затем настал и миг, который Алексид так часто рисовал в своем воображении. Зрители умолкли, и глашатай встал, чтобы объявить последнюю комедию. Голосом, который достигал самых удаленных рядов амфитеатра, он произнес обычную формулу: «Алексид, сын Леонта, предлагает свою комедию...»

Младший Алексид был, пожалуй, единственным в театре человеком, которому первая половина «Овода» не доставила никакого удовольствия. Впоследствии он даже не мог вспомнить, что, собственно, он видел. Он слишком напряженно ожидал решительной минуты в середине комедии, когда актеры покинут оркестру, а Главк, подойдя к самому ее краю, произнесет речь, обращенную к зрителям. Пока же его раздражало все, что отдавало эту минуту, — даже взрывы хохота, которые вызывали его шутки, потому что актеры, выжидая, пока зрители немного стихнут, бездействовали.

Чтобы лучше видеть и чтобы не слышать бессвязной болтовни взволнованного дядюшки Живописца, он забрался на высокую площадку, где появляются актеры, изображающие богов, вещающих с неба, и, скривившись так, чтобы остаться незамеченным, осторожно поглядел вниз. Узкие подмостки были почти целиком скрыты от его взгляда, и он не видел актеров, хотя их звучные голоса доносились до него совершенно отчетливо. Но зато большая круглая оркестра была видна вся, и он мог наблюдать, как Главк и хореевты то застывали, словно статуи, то начинали двигаться в сложном танце. За оркестром он мог разглядеть первый ряд амфитеатра — удобные кресла, где посередине, на почетном месте, восседал верховный жрец Диониса, а справа и слева от него располагались архонты и другие высокопоставленные лица. Одно из кресел пустовало — кресло стратега, с которым он только что разговаривал. А дальше рядами, восходящими к великолепным храмам Акрополя и к синему весеннему небу над ним, сидели тысячи и тысячи зрителей, загорелых, украшенных венками, в пестрой праздничной одежде.

И где-то на этих переполненных скамьях сидят Гиппий и его сообщники... Алексид сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Напряжение становилось невыносимым.

Наконец-то! Главк приблизился к краю орхестры — кто узнал бы его в этой комической маске и полосатых чулках! Зрители приготовились посмеяться вволю. В этой речи поэт обращался прямо к ним от собственного имени, а не вкладывал ее в уста своих персонажей. Одна за другой острые шутки на злобу дня заставляли ряды зрителей колыхаться, как ржаное поле под ветром. Упоминание о Сократе вызвало взрыв добродушного хохота. А, стариk Сократ! Не так уж он и плох... Да он полезнее Афинам, чем многие другие, кого мы могли бы назвать...

Но вот Главк перешел на более серьезный тон. Голос у него был великолепный. Он гремел, заполняя огромную чашу амфитеатра, доносясь до последнего ряда под самым небом. Главк предупреждал зрителей, что Афинам грозит опасность, куда более серьезная, чем поучения философа.

И наконец в мертвой тишине прозвучали заключительные строки:

Афиняне! Защитники свободы, берегитесь!
Вооружитесь и на страже будьте!
Вам враг грозит с горы, как коршун кривоклювый.
Сегодня маски прячут заговор.
Ждет Гиппия в опочивальне не супруга,
Но бронза острая, которая мила
Лишь заговорщикам у врат Афин!

Главк отступил назад к хору. Раздались хлопки, но довольно неуверенные. Среди зрителей послышался недоуменный ропот, но он затих, когда на подмостки вернулись актеры и впервые появилась «корова», вызвав неудержимый хохот.

Однако нашлись среди зрителей и такие, у которых заключительные строки не вызвали никакого недоумения. И они не стали любоваться проделками «коровы».

Со своего насеста Алексид видел, как по всему амфитеатру то тут, то там поодиночке, по двое, по трое поднимаются отдельные фигуры и начинают проталкиваться к выходу. Их соседи негодовали, и на некоторое время внимание зрителей было отвлечено ворчливой бранью и возгласами: «Да садитесь же!» Однако «корова» какой-то проделкой, которой Алексид не видел, вызвала новые громовые рукоплескания, и все взгляды зрителей опять устремились на подмостки. Непонятный уход нескольких грубиянов был скоро забыт, и все устроились поудобнее, чтобы ничего не упустить из второй половины комедии.

Так же поступил и ее молодой сочинитель. Хитрость удалась. Афины были спасены.

Когда Лукиан, отыскав наконец своего друга, забрался к нему наверх, ему пришлось дважды толкнуть Алексида, прежде чем тот обратил на него внимание. Алексид сердито обернулся, но резкие слова замерли у него на губах, когда он увидел приятеля и вспомнил, чем ему обязан.

— Спасибо за помощь, — прошептал он.

— Не за что. Это было очень забавно. Ну и погонял же я их по реке! Послушай, Алексид, а у всех выходов стоит страж!

— Знаю. Я тебе потом все расскажу. Лукиан, — хриплым шепотом попросил Алексид с прямотой, какая возможна только между самыми близкими друзьями, — помолчи пока, ладно? Надо же мне послушать мою комедию!

— Твою комедию? — недоуменно повторил Лукиан.

Но Алексид уже отвернулся и глядел на залитую солнцем орхестру, где вновь начали ритмично двигаться хоревты, похожие сверху на пестрых жуков. Лукиан не стал повторять своего вопроса. Блаженное выражение на лице его друга служило достаточным ответом. Полный гордости за Алексида и любопытства, Лукиан скрчился рядом с ним, и так, не шевелясь, они пролежали до конца представления.

Значит, все это и вправду сочинил Алексид! Шутки, от которых покачивается весь

амфитеатр, красивые строфы хора, которые заставляли слушателей благоговейно затаить дыхание... В горле Лукиана поднялся комок, когда раздались заключительные строки, в которые Алексид вложил все, что думал об Афинах, всю свою любовь к родному городу, строки, которые еще многие годы повторяли афиняне, в какой бы уголок земли ни занесла их судьба:

Фиалковый венец наш город носит,
И море синее — кайма его одежд.

Когда отзвучали последние слова и замерли звуки флейты, зрители воздали комедии высшую дань восхищения — несколько мгновений царила зачарованная тишина, затем раздался единый громкий вздох и разразилась буря: все кричали, хлопали, стучали ногами, и в чаше амфитеатра, точно гром, перекатывалось эхо. Лукиан почувствовал, что его глаза влажны от слез, и смущенно покосился на Алексида. Но, как ни странно, в глазах Алексида он тоже заметил слезы — а ведь он сам все это сочинил!

Пока десять судей подавали свои голоса, юноши молчали. Толпа внизу гудела и колыхалась, как море, но друзья были слишком измучены событиями этого утра, и им не хотелось говорить. Наконец Лукиан привстал.

— Сейчас узнаем, — сказал он.
Внизу раздался голос глашатая:
— Награда за лучшую комедию присуждается «Оводу» Алексида, сын Леонта...

Глава 19

СЕРЕБРЯНЫЙ КУЗНЕЧИК

Конон решил устроить пир, чтобы отпраздновать победу «Овода». «И кое-какие другие радостные события», — добавил он, и в его суровых глазах мелькнула улыбка, хотя (как впоследствии напомнил ему Алексид), говоря это, он и не подозревал, какое еще радостное событие предстоит ему отпраздновать.

— Только я ничего не подготовил, — признался Конон. — Конечно, я знал, что, по обычаю, хорег комедии, снискавшей награду, угощает актеров и хор, но, сказать по правде, я никак не ожидал, что мы можем победить Аристофана! Впрочем, это дело поправимое. Один мой друг предоставил в мое распоряжение свой городской дом. Теперь только надо найти повара.

— Тут могу помочь я, — предложил Алексид. — Я могу найти повара.
— Ну еще бы! — сказал Конон с непривычной шутливостью. — Теперь, когда я знаю, что ты не только раскрыл заговор Магнета, но и сочинил комедию твоего деда, меня очень огорчило бы, если бы ты не сумел сделать такую пустяковую вещь — подыскать мне повара.
— Видишь ли, и в том и в другом мне очень помогала Коринна...
— Эта красивая девушка, которую я видел в театре?
— Да. И, собственно говоря, мне и тут не обойтись без ее помощи. Ведь повар, о котором я говорю, — ее мать.

— Ну, так поговори с ней, Алексид. Пусть готовит пир на пятьдесят человек. Хор и актеры — это уже почти тридцать, а кроме того, твоя семья и твой друг Лукиан... Но, может быть, ты хочешь сам кого-нибудь пригласить? Алексид несколько мгновений в нерешительности молчал. Но наконец он собрался с духом:

— А можно... можно, я приглашу Сократа?
— Конечно, если только он согласится. Скажи моему рабу, где его искать.
— Наверно, он у себя дома. Видишь ли, — пояснил Алексид, с грустью вспоминая, что «Овод» был написан ради Сократа, — он почти никогда не ходит в театр и, значит, не видел и моей комедии. Ну, а так как во время представления ему не найти на улицах обычных

собеседников, он, наверно, сидит дома и ждет, чтобы праздники кончились и было с кем поговорить.

— Ну, пусть разговаривает со мной сегодня на пиру, — деловито сказал Конон. — Расскажи моему рабу, где он живет, а сам сходи к этой твоей хваленой стряпухе... как ее зовут?

— Горго.

— Горго? — недоуменно повторил Конон. — Я где-то слышал это имя.

— Ну, это понятно: лучше ее никто в Афинах не готовит. Но сегодня, может быть, она и свободна, потому что в Афинах ее пока не все знают, они совсем недавно приехали из Сиракуз...

— Так как же я мог о ней слышать? — пробормотал Конон. — На пирах я не бывал вот уже много лет. Она, ты говоришь, мать этой девушки?.. Ну, неважно, неважно... — Он повернулся к рабу:

— Когда пригласишь Сократа, беги со всех ног домой и скажи госпоже, чтобы она оделась и приехала сюда на пир. Скажи, что пир будет очень скромный и женщины, если пожелаю, останутся на своей половине. Конечно, она отвыкла от шумного веселья, но сегодня же все-таки Дионисии! Скажи ей, что вино будет сильно разбавлено, что не будет ни флейтисток...

— Ты ошибаешься, — перебил его Алексид, и уголки его рта лукаво задергались. — Без одной флейтистки мы все-таки не обойдемся, или Горго откажется прийти, да и я тоже, хотя и никак не прошу меня простить.

Конон просмотрел на него, и его лицо стало почти испуганным.

— Неужели эта девушка — флейтистка?

— Не такая, как другие, — но ведь и этот пир будет на таким, как другие.

Так оно и было.

Первое, что бросилось в глаза Алексиду, когда он вошел в дворик харчевни, была старая овчина, разбитые деревянные сандалии и широкополая пастушеская шляпа — все это валялось на земле.

Коринна выбежала к нему из кухни.

— Ах, Алексид, я так рада, так рада! — воскликнула она.

— Так ты уже слышала? — спросил он с досадой. А он-то, расставшись с Кононом, бежал всю дорогу бегом, чтобы его никто не опередил!

— Слышала? — Коринна закинула голову и засмеялась своим беззвучным смехом. — Неужели ты думаешь, что я не сумела и посмотреть? — Она указала на кучу одежды:

— Можешь забрать свою старую овчину. В театре она сослужила мне хорошую службу — она так благоухала, что мои соседи старались отодвинуться то меня подальше!

— Значит... — в восторге начал он. — Ах ты, хитрая...

— Это еще что? — вопросила Горго, выходя из кухни. — Что на вас нашло? В жизни я...

— Я к тебе с поручением, — объяснил Алексид. — Сегодня вечером пир на пятьдесят человек. Все самое лучшее. Денег не жалеть. Ты согласна?

Лицо Горго расплылось от удовольствия.

— Еще бы! Я всегда говорила, господин Алексид, что ты нам добрый друг. Все и будет только самое лучшее.

Этот вечер Алексид запомнил как самый счастливый в своей жизни. Что могло быть приятнее минуты, когда отец обнял его, а потом отступил на шаг и оглядел его даже с каким-то страхом!

— Так, значит, то, о чем говорит весь город, правда? Комедию написал ты, а не дядя Алексид? Я горжусь тобой, сын!

А ведь Леонт еще не слышал тогда, что его сын помог раскрыть опасный заговор!

А мать, сильно оробевшая (она согласилась прийти на пир только с условием, что будет сидеть с Диметрием в соседней комнате и лишь украдкой поглядывать на пирующий), поцеловала его и шепнула:

— А я нисколько не удивилась, милый. Я всегда знала, что твой отец недостаточно тебя ценит.

Алексид невольно улыбнулся — то же самое она говорила и про дядюшку Живописца! Но ведь у нее доброе сердце и она обо всех думает хорошо. Филипп, на этот раз отпущеный домой на праздники, поздравил его с неволостью старшего брата, а Теон произнес целую речь и замолчал только тогда, когда Алексид дернул его за ухо. Ника клялась, что, знай она, в чем дело, она переоделась бы мальчиком, а уж в театре побывала бы непременно! Дядюшка Живописец, ничуть не огорченный утратой славы, веселился больше всех — до чего же приятно, заявил он, не притворяться больше умником! А завтра можно будет снова спокойно работать в гончарне.

Сократ всем очень понравился. И особенно Леонту, чье мнение о нем, как и у многих других афинян, переменилось к лучшему благодаря «Оводу». Теон же присосался к старику философу, как пиявка; они устроились в спокойном уголке и вели длинную беседу, ни на кого не обращая внимания, пока Теон уже за полночь вдруг не уснул на полуслове. Сократ улыбнулся, подложил ему под голову подушку и подошел к Главке, чтобы расспросить его о природе ритма.

Но самое важное случилось раньше, как только унесли столы и в зал вошла Коринна с флейтой в руке. В этот вечер она казалось совсем взрослой, потому что на ней был длинный хитон из сверкающей голубовато-серой ткани под цвет ее глаз. Она не надела никаких украшений, кроме старой серебряной броши, изображающей кузнечика. Эту брошь она хранила с раннего детства, надевала только в особо торжественных случаях и верила, что она приносит удачу.

Пока она играла, Конон тихонько прошел в соседнюю комнату, где на приличном расстоянии от пирующих сидели его жена, мать Алексида и еще несколько женщин, а так же Ника, очень недовольная этим уединением. Деметрия посмотрела на мужа и улыбнулась. После стольких лет сельского затворничества ей было очень приятно наблюдать такое веселье.

— Какая красивая девушка! — прошептала она.

Конон как-то странно поглядел на нее.

— Она тебе никого не напоминает, милая? — спросил он с притворным равнодушием.

Деметрия повернулась и посмотрела в зал. Она покачала головой:

— Не помню.

— И неудивительно. Это же было... довольно давно. А ту девушку ты в лицо не видела — только ее отражение в своем зеркале.

Деметрия посмотрела на него, недоуменно сдвинув брови:

— О чем ты говоришь, Конон?

— Она точный твой портрет в юности. Я заметил это сразу, как только увидел ее утром.

Деметрия тихонько засмеялась, смущенно, но радостно.

— Такой красивой я никогда не была. Пожалуй, все-таки какое-то сходство и правда есть, хотя мне самой судить об этом трудно.

— Вылитая ты, — настаивал Конон.

— Какое странное совпадение!

— Так и я думал, пока не узнал имени ее матери. Ее зовут Горго.

— Не может быть! — У Деметрии перехватило дыхание.

Побледнев, она схватилась за сердце, и Алексид, заметивший это через открытую дверь, бросился к ней на помощь, но она поборола свое волнение. — Если это даже и так,

прошептала она, — то мы ничего сделать не можем. У нас нет никаких прав. Мы поступили плохо и должны за это расплачиваться. А она как будто счастлива.

— Нет, — возразил Конон. — И Горго тоже не слишком счастлива. Они привязаны друг к другу, но девочке не нравится такая жизнь. Это мне сказала сама Горго.

— Ты с ней говорил?

— Да. Она сейчас здесь, на кухне.

— Я про девушку... Как ее зовут? Коринна?

— Нет, не говорил. Понимаешь, я хотел сначала рассказать тебе.

— Ах, приведи ее сюда, Конон! Приведи поскорее, пожалуйста.

И, когда Коринна, кончив играть, с недоумевающим видом вошла в комнату, Деметрия прошептала:

— Погляди, на ней моя брошь — серебряный кузнец!

Коринна, побледнев, молча слушала сбивчивые объяснения Конона и Деметрии. Конон утверждал, что во всем виноват он, а Деметрия, перебивала его, спешила взять вину на себя.

Как и рассказывал Алексиду дядюшка Живописец, Конон и Деметрия полюбили друг друга с детства и поженились против воли своих семей. Они обменялись клятвой верности еще в ранней юности, и Деметрия отказывала всем женихам, пока наконец Конон не смог взять ее в жены. Много лет у них не было детей, и, когда они уже отказались от всякой надежды, у них родился ребенок, но не сын-наследник, которого в те дни так хотел иметь Конон, а дочь. Врачи сказали, что у Деметрии больше не будет детей, и оставался только один выход, к которому, впрочем, нередко прибегали в богатых греческих семьях: обменяться детьми с какой-нибудь женщиной, которая за вознаграждение согласится отдать своего новорожденного сына и взять на воспитание девочку. Им указали на Горго, и ее не пришлось долго уговаривать. Ей нужны были деньги, она собиралась перебраться из Афин в какую-нибудь колонию, а из девочки она надеялась вырастить себе хорошую помощницу.

— Твоя мать была против этого, — решительно сказал Конон. — Ты не должна ее ни в чем винить. Так решил я. Только позднее я понял, каким это было для нее тяжким горем. Можешь ли ты простить меня? Свою мать тебе прощать не за что.

Коринна посмотрела на его худое, морщинистое лицо. Она вспомнила все, что рассказывал ей о нем Алексид. Она подумала о маленькой гробнице под темными елями — как странно, ведь в ней покоится сын Горго! Но Конон любил его, а он умер. Если Конон и поступил дурно, отдав свою дочь чужой женщине, он заплатил за это многими годами скорби.

Так вот, значит, о чем думала Горго, когда сегодня вечером она здесь на кухне вдруг обняла ее, громко чмокнула в щеку и сказала:

— Ты никогда к нашей жизни не привыкнешь, душечка. Я это вижу. Ну что ж, так тому и быть. Я ведь только хочу тебе счастья. Но мы останемся добрыми друзьями, ведь правда?

— «Значит, Горго знает. И все будет хорошо». — Коринна поцеловала отца и бросилась в объятия Деметрии...

Через несколько часов, когда все было уже давно объяснено и с первыми лучами зари гости начали расходиться, Алексид и Коринна остановились на улице, глубоко вдыхая свежий утренний воздух.

— Так, значит, ты все-таки будешь благовоспитанной афинской девушкой!

— поддразнивал ее Алексид. — Каково-то тебе придется!

— Не так плохо, как кажется, — возразила Коринна. — Во-первых, я за одну ночь не стала благонравной и тихонькой. А во-вторых, мы будем жить в поместье, а в деревне у девушки больше свободы, чем в городе. Не думай, пожалуйста, что я буду убегать в гинекей каждый раз, как ты придешь навестить нас!

— А почему ты думаешь, что я буду вас навещать? Ведь это не близкая прогулка.

Коринна обиженно надула губы и ничего не ответила. Несколько мгновений они стояли молча. Запели петухи. Запоздалые любители праздников в разорванной, покрытой пятнами одежде, пошатываясь, неуверенно брали домой. Вдруг небо вспыхнуло багрянцем и золотом утренней зари, и в конце улицы над кровлями белых домов перед ними встал холм Акрополя, одетый лиловатой дымкой, — фиалковый венец Афин.

Коринна положила руку на плечо Алексида.

— Знаешь, — прошептала она, — это хорошо, это очень хорошо, что я теперь афинянка!

О ДРЕВНИХ АФИНАХ, АЛЕКСИДЕ И ЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

Повесть прочитана. Но вас, наверно, обступает рой вопросов: а было ли все это на самом деле? Жил ли в Афинах такой юноша Алексид? Правда ли, что он сумел написать комедию и разоблачить заговорщиков?

В повести Джека Триза изображены или упоминаются люди, которые действительно жили в Афинах во второй половине V века до н.э.: знаменитый мудрец Сократ, ученый Анаксагор, политический деятель Перикл, великий драматург Аристофан и другие. Ну, а Алексид, Коринна, Лукиан? Не будем торопиться с ответом. Нам ведь важно узнать не только то, что было на самом деле, но и то, что могло быть, что не расходится с исторической правдой. Чтобы разобраться в этом, мы не расстанемся сразу с Алексидом и, вспоминая его занятия, разговоры и приключения, попытаемся внимательно всмотреться в жизнь древних Афин, города, «увенчанного фиалками» — фиолетовым мрамором величественного Акрополя.

Глава 1

Аристократы и демократы, свободные и рабы

Благодаря находчивости и мужеству Алексида потерпел провал заговор аристократов. Но кто же такие эти люди: изгнанный из города Магнет, расфранченный Гиппий и соучастники их коварных замыслов? Оказался ли Алексид в центре событий необыкновенных и исключительных?

О нет! Такова была повседневная жизнь Афин. Борьба аристократической и демократической партий пронизывает всю историю Древней Греции.

Два самых сильных государства Греции, Афины и Спарта, различались своими политическими порядками. В Афинах правил народ (по-гречески «демос»). В Спарте власть принадлежала богатым и знатным гражданам — аристократам (власть народа мы называем демократией, власть немногих, аристократов, — аристократией). Афины повсюду в Греции поддерживали демократию, спартанцы в подчиненных им городах насаждали аристократические порядки. Долгая, упорная, страстная борьба аристократов и сторонников демократии привела к войне. Греция разделилась на два лагеря. Одни города выступили на стороне Афин, другие поддержали Спарту. Двадцать семь лет, то затихая, то разгораясь вновь, продолжалась война, получившая название Пелопоннесской.

В повести Триза не рассказывается о походах и сражениях, хотя действие ее приходится на годы Пелопоннесской войны, на конец V века до н.э. Мы узнаем только о происках спартанцев в Афинах, о предательских планах их тайных пособников — афинских аристократов, готовых отдать свой город врагам, лишь бы сокрушить ненавистное им господство демоса. Свообразные порядки сложились в Афинах. Три или четыре раза в месяц афинские граждане сходились на Народное собрание и решали важнейшие дела. Народ избирал должностных лиц: стратегов, архонтов, судей. Только военачальников — стратегов — выбирали открытым голосованием из числа опытных в военном деле граждан.

На все остальные должности избирали жребием с помощью бобов. Делалось это так. Ставили два глиняных сосуда: в одном были таблички с именами кандидатов, в другом — соответствующие количество белых и черных бобов. В одно время вынимали табличку и боб. Белый боб был избирательный, черный — неизбирательный. Каждый гражданин в Афинах, независимо от своего богатства, мог быть избран на любую должность. Исполнение общественных обязанностей отрывало от занятий своими делами, и для бедных людей, живущих своим трудом, оно могло стать обременительным. Поэтому афинский демос добился того, что была введена плата за отправление должностей — два или три обола в день, — но афинскому ремесленнику или мелкому торговцу больше за день было и не заработать. Бедным гражданам в Афинах раздавали деньги и на посещение театра, а богатые должны были нести общественные повинности: снаряжать триеры, устраивать на свой счет зрелища, оплачивать хоры в комедиях и трагедиях. Так, богатому Конону из нашей повести пришлось оплатить расходы на содержание и обучение хора для комедии Алексида.

Власть принадлежит демосу, говорили афиняне. Но как далеки на деле были эти порядки от подлинной власти народа! Ведь под народом — демосом — греки разумели не всю народную массу, не все население, а только привилегированное меньшинство — свободных, полноправных граждан. Рабы не входили в демос. В Афинах проживало и много свободных людей, лишенных гражданских прав. Это были выходцы из других городов. Их называли «метеки». Сколько бы ни прожил в Афинах метек, его дети и внуки, они оставались неполноправными. Метеки не имели права присутствовать на Народном собрании, занимать должности, владеть землей или домом; браки между метками и гражданами были запрещены.

К такой именно семье переселенцев и принадлежала Коринна (пока не нашла своих настоящих родителей). Как ни удивляли Алексида слова Коринны о том, что ей не нравится в Афинах, надо признать, что у нее было немало оснований негодовать на порядки в «прекрасных Афинах». Смелая, независимая девочка, тянувшаяся к знаниям, к культуре, она остро переживала несправедливости афинских законов, которые навсегда отбрасывали ее в низший, неполноправный разряд населения. Коринну больно задевало и неравноправное положение женщин в Афинах. Вас, вероятно, поразило: как могли родители обменять своего ребенка на чужого, обменять девочку на мальчика? Теперь нам трудно это понять, но у греков было разное отношение к мальчикам и девочкам. Мальчик мог прославить свою семью подвигами на поле боя, победами на атлетических состязаниях, выступлениями на народных собраниях. Девушка не могла принести своей семье ни славы, ни богатства. Жестокий обычай был у греков: подкидывать новорожденных. Детей клали в корзину или в глиняный горшок и оставляли на ступеньках храма. Тот, кто подбирал ребенка, мог воспитать его, мог и превратить в раба. И чаще такая участь выпадала на долю девочек. Греческий писатель хладнокровно сообщал: «Сына воспитают всегда, даже если бедны; doch подкидывают, даже если богаты». Конечно, лишь немногие родители бывали так жестокосердны, но наша обаятельная сероглазая Коринна стала жертвой такого отношения к девочкам: ее обменяли на мальчика. Если бы не счастливый и редкий случай, позволивший Коринне найти ее настоящих родителей (часто ли бывало такое в жизни!), ей пришлось бы навсегда забыть о дружбе с Алексидом. В самом деле, что могли предпринять Алексид и Коринна, если бы решили остаться вместе? Нарушить законы афинян под угрозой изгнания? Бежать самим в отдаленные края, на окраину греческого мира, на встречу опасностям и неизвестности? Но Алексид так любил свой город — «увенчанные фиалками, твердыню эллинов, славные Афины»...

Слава Афин согревала не всех. Храмы, театры, дары культуры были не для каждого. Непреодолимая стена отделяла метеков от граждан, глубокая пропасть разделяла свободных и рабов.

Читая повесть Джека Триза, вы, пожалуй, не могли составить верное представление о том, как глубока была это пропасть. Перед вами промелькнули рабыни-служанки в доме Леонта, старый раб-педагог Парменон. Но далеко не все рабы в Афинах были на положении домочадцев, как Парменон. Они тяжко трудились в мастерских, в каменоломнях, на рудниках, возделывали поля. Если бы не труд рабов, свободные не могли бы воздвигнуть такие величественные храмы и статуи, заниматься искусством, литературой, наукой. Достижениями своими греческая культура обязана труду рабов.

Мы очень мало узнаем о жизни рабов из повести. Алексид, сын Леонта, владельца небольшой гончарной мастерской и нескольких рабов, как и другие свободные люди в Греции, считал рабство чем-то естественным, само собой разумеющимся и обращал мало внимания на окружавших его рабов; мысли его они нисколько не занимали. Не стоит осуждать за это афинского мальчика. Так смотрели тогда на вещи и самые выдающиеся люди Греции. Даже великие греческие мыслители обсуждали, например, вопрос о том, может ли раб быть храбрым и справедливым. Они, как видите, сомневались, обладают ли рабы самыми обычными человеческими качествами.

Распространение рабского труда повело к тому, что свободные стали презирать физический труд — «удел рабов». Афинский гражданин часто предпочитал получить три обола за участие в суде присяжных, чем заработать их ручным трудом. Помните, как пренебрежительно судили в доме Леонта о его родиче, старом Алексиде, достойном человеке, влюбленном в свою профессию расписчика глиняных ваз: лишь потому, что он работал сам, не имел рабов.

И все же в демократических Афинах народным массам и даже рабам жилось лучше, чем в городах, где правили аристократы. Недаром аристократы со злобой жаловались, что в Афинах «рабы и метеки распущены», что здесь не часто увидишь, как бьют раба. Аристократы утверждали, что простые люди не могут управлять государством из-за своей бедности и некультурности. Хорошие законы, по их мнению, были лишь в тех греческих городах, где «благородные держат в повиновении простых». Они и хотели установить в Афинах подобные «хорошие законы».

Аристократы плели нити своих интриг, создавали тайные общества — гетерии, — вроде той, что сложилась вокруг Гиппия. Члены гетерий клялись: «Я буду врагом народа и постараюсь причинить ему столько вреда, сколько смогу».

В 404 году до н.э. (действие повести завершается до этих событий) аристократы смогли совершить переворот в Афинах. Им помогли спартанцы, которые победили афинян в войне. Тридцать аристократов во главе с Критием, дерзким, коварным, беспощадным к людям тираном, установили свою власть над городом. За несколько месяцев они успели перебить полторы тысячи афинян: то, о чем мечтали в повести Магнет и Гиппий, было проведено в жизнь. Но недолго. Народ сверг тиранов, Критий и его сподвижники были убиты. Какой ненавистью платили аристократы демосу, видно из надписи, сделанной единомышленниками Крития на памятнике убитым тиранам: «Сей памятник воздвигнут мужественным людям, которые хоть на короткое время взнудили дерзновенную похоть проклятого афинского народа».

Изображенные в повести Магнет, Гиппий и другие — лица вымышленные.

Но, как вы видите, смысл событий передан в повести верно: такие, как Магнет и Гиппий, существовали в действительности и пролили немало крови афинских граждан.

Вот в каком переплете событий побывал Алексид. Он оказал большую услугу городу, избавив его от заговорщиков, но признаем, что очень уж легко удалось ему провести аристократов.

Глава 2

Древние безбожники

На суде над школьным учителем Алексид услышал об учении Анаксагора.

Этот замечательный мыслитель древности утверждал, что солнце — не бог Гелиос, а раскаленный шар, «почти такой же большой, как вся Греция». Вы, очевидно, не могли скрыть улыбку: какими незначительными представлялись размеры солнца Анаксагору. Но вспомним, что он жил почти две с половиной тысячи лет назад, когда люди были во власти мифов и религиозных суеверий, а все силы и явления природы казались им божествами. Если бы мы могли спросить какого-нибудь мальчика в древних Афинах, почему восходит и заходит солнце, он наверняка рассказал бы нам с живостью и полной уверенностью в своей правоте (ведь так говорят взрослые, так учат в школе), что это бог Гелиос в лучезарном венке выезжает каждое утро на небо в золотой колеснице, запряженной четверкой крылатых коней, а вечером, совершив свой дневной путь, он спускается к водам океана и уплывает на золотом челне на восток, чтобы на следующий день вновь взойти на небо в прежнем блеске. Может быть афинский мальчик прочитал бы нам и строку из любимого греками Гомера:

Гелиос с моря прекрасного встал и явился на медном
Своде небес, чтобы сиять для бессмертных богов и для смертных,
Року подвластных людей, на земле плодоносной живущих.

Немалой смелостью и прозорливостью надо было тогда обладать, чтобы выступать против мифологических суеверий, как Анаксагор!

Ученый тяжело поплатился за свои смелые мысли. Афиняне обвинили его в оскорблении богов и приговорили к смертной казни. Только заступничество Перикла помогло Анаксагору избежать казни, и он навсегда отправился в изгнание.

Анаксагор был не единственным древнегреческим ученым, который восставал против веры в богов. Задолго до Анаксагора по городам Греции странствовал народный певец Ксенофан. Он наблюдал, как люди разных племен и разного цвета кожи по-разному представляют своих богов: негры изображают их черными и с курчавыми волосами, а у светлокожих фракийцев боги голубоглазые и рыжие. Ксенофан сделал смелый вывод: не боги создали людей, а люди выдумали богов. Если бы кони или быки, насмешливо говорил Ксенофан, умели рисовать, то и они изображали бы своих богов в виде коней или быков. А в конце V века до н.э., то есть как раз в то время, когда развертывается действие повести Триза, в городе Абдерах жил великий греческий мыслитель Демокрит. Он не верил ни в бессмертных богов, ни в чудеса. Демокрит считал, что все предметы состоят из мельчайших, не видимых глазом частиц, которые не имеют ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Эти частицы Демокрит называл атомами. Вселенная, учил Демокрит, — это бесконечное количество атомов и беспредельная пустота. Она существует вечно и не является созданием богов.

Люди были убеждены тогда, что наша Земля — центр Вселенной. Демокрит же решительно утверждал, что число миров бесконечно. Как странно представить себе, пояснял он свою мысль, чтобы на ровном поле вырос один колос, так и странно представить, чтобы в бесконечном пространстве образовался один только мир. Мирь бесчисленны и различны по величине. В некоторых нет ни солнца, ни луны: в других солнце и луна по размерам больше наших; некоторые не имеют растений и животных и вовсе лишены влаги. Хотя Демокрит еще не знал, что Земля шарообразна, и считал ее плоской, его учение было глубоким прозрением в природу вещей.

Демокрит не мирился с тем, что многие явления кажутся людям необъяснимыми и чудесными, он старался найти их естественные причины. Однажды некий лысый человек был убит упавшей на него с неба... черепахой. Окружающие увидели в этом наказание, посланное богами. Демокрит же нашел простое и убедительное объяснение: мясом черепах любят лакомиться орлы, но, когда черепаха прячется в свой щит, орлу не достать ее оттуда;

тогда орел с черепахой взлетает высоко в небо и бросает свою добычу вниз, на сверкающие солнцем камни, чтобы расколоть панцирь черепахи. На этот раз орел, видимо, принял череп лысого за камень. «Я предпочел бы открыть причину хотя бы одного явления, нежели приобрести себе персидский престол!» — гордо воскликнул Демокрит.

Конечно, Демокрит не мог доказать в то время правильность своего учения об атомах. Он думал, что атомы неделимы и не поддаются никакому воздействию. Прошли тысячетысячелетия, прежде чем наука доказала, что мир действительно состоит из атомов. Но еще несколько десятилетий назад ученые считали, как и Демокрит когда-то, что атомы неделимы. Деление атомов было открыто сравнительно недавно, лишь совсем недавно, накануне второй мировой войны, удалось обнаружить деление атомных ядер — это великое открытие позволило приступить к использованию могучей силы атомной энергии.

Алексид не был знаком с учениями греческих вольнодумцев и безбожников, но, наделенный умом острым и наблюдательным, он не отмахнулся от того, что услышал на суде. Афинскому мальчику делает честь уже и то, что, узнав об идеях Анаксагора, он задумчиво заметил: «Может быть, это не такая уж чепуха».

Глава 3

Софисты

Поразмыслить над учением Анаксагора Алексиду, однако, не пришлось.

Время его было занято другим. Алексид должен был посещать школу софиста Милона. Таково было, вы помните, настоятельное желание его отца.

Слово «софист» соответствует нашему слову «ученый». Так в Греции называли людей, которые за плату обучали всех желающих наукам и красноречию. Софисты учили решительно всему: арифметике, геометрии, астрономии, музыке, физике, но главным предметом преподавания было словесное искусство — красноречие. Софисты странствовали по городам Греции и повсюду находили множество учеников и почитателей. Нетрудно понять, чем объяснялась популярность софистов. Гражданам Афин и других городов с демократическим устройством приходилось выступать на народных собраниях, в суде присяжных, произносить речи, убеждать сограждан или защищаться от нападок и обвинений. Только тот мог рассчитывать на успех, кто хорошо владел словом, умел отстоять свои взгляды и убедить в своей правоте слушателей. Ораторы, выдвинувшиеся на народных собраниях, становились вождями афинского демоса. Недаром отец Алексида, заметив способности своего сына, возмечтал о том, что Алексид заслужит славу оратора.

Софисты изучали природу; они немало сделали для развития грамматики.

Мы без труда различаем теперь, какого рада то или иное слово: без этого не овладеешь правилами грамматики, не научишься правильно писать. Но мало кто знает, что первым установил деление всех слов на три рода — мужской, женский и средний — греческий софист Протагор. Софисты впервые обратили внимание и на то, что в нашей речи встречаются слова одинаковые или близкие по смыслу, но разные по звучанию — синонимы (например, «работать» и «делать», «хотеть» и «желать» и т.п.).

Но, чем дальше шло время, чем сильнее росла популярность софистов, тем чаще среди них стали появляться люди, которым было безразлично, что доказывать, в чем убеждать, на пользу какому делу обратить свое красноречие. Они учили красиво говорить, не заботясь об истине. Задачу свою они видели не в том, чтобы найти истину, а лишь в том, чтобы переговорить противника в споре, завести его в такие хитросплетения слов, какие ему не распутать. На красноречие они смотрели как на искусство словесного фехтования: победит не тот, кто прав, а тот, кто более ловко владеет словом. Своих учеников они учили спорить против очевидности, доказывать, что черное — бело, а белое — черно. Всякое неправое

дело можно представить правым, говорили эти софисты.

На народных собраниях произносились хвалебные речи в честь богов, в честь героев, павших за родину, в честь граждан, оказавших услуги народу. Софисты готовили своих учеников к таким речам. Они считали, что надо научиться восхвалять любого человека и даже любой предмет. Они предлагали писать сочинения: похвала блохе, моли, комару, лихорадке, — словом, чему угодно. И Алексид скрепя сердце писал их.

Случалось, что софисты сами становились жертвами своей словесной изворотливости. Предание рассказывает о двух софистах — учителе и ученике. Ученик, научившись ораторскому искусству, отказался уплатить своему наставнику обещанное вознаграждение. Учитель привлек его к суду. На суде они заспорили.

Ученик. Скажи мне, почему ты обещал научить меня?

Учитель. Искусству убеждать кого угодно.

Ученик. Но если ты выучил меня своему искусству, то я смогу убедить тебя ничего не брать с меня за обучение; если же я не сумею убедить тебя, то и в этом случае ты ничего не должен брать с меня за обучение, так как не научил тому, чему обещал научить.

Учитель. Если, научившись у меня искусству убеждать, ты убедишь меня ничего не брать с тебя, то ты должен обдать мне вознаграждение, так как докажешь всем, что научился убеждать; если же ты меня не убедишь, то опять-таки должен заплатить мне деньги, так как я тобою не убежден не брать их с тебя.

Они спорили до тех пор, пока их не прервали рассерженные члены суда присяжных.

«Софистика» — мы и теперь говорим так о речах и рассуждениях, в которых замечаем не поиски истины, а словесные ухищрения.

Алексиду не повезло: учитель его Милон, как видно из повести, принадлежал именно к числу таких софистов. Алексид, чуткий к справедливости, скоро разочаровался в его уроках. Мысли его привлек Сократ.

Глава 4

Сократ

Необыкновенный это был человек. Круглый год босой, в одном поношенном плаще, появлялся он в людных местах и то на площади, то под мраморным портиком, то на загородной лужайке в тени платана заводил с афинянами беседы о поведении людей, о богах и религии. Сократ не оставил произведений. Он учил устно. Ученики его записали и сохранили для нас мысли афинского мудреца.

Как и софисты, Сократ учил рассуждать и спорить, но, в отличие от софистов, его нельзя было упрекнуть и в малейшей корысти: за уроки свои он не брал ни с кого денег. Сократ был до глубины души предан своим идеям, уверен в правоте их и в этой уверенности черпал свою силу, стойкость и безразличие к житейским благам.

Сократ убеждал слушателей, что главными достоинствами человека являются умеренность, храбрость и справедливость. Но и Сократ был сыном своего века: поучения его далеки от нас. Так, он нимало не сомневался в том, что обращение в рабство жителей неприятельского города — дело справедливое и законное.

Ученики Сократа запомнили не только рассуждения его, но и мысли, оброненные вскользь: они всегда были проникнуты иронией; он умел одним доводом или репликой высмеять людей заносчивых, самовлюбленных, тупых. Кто-то в присутствии Сократа пожаловался, что он ест без аппетита.

— Есть хорошее лекарство от этого, — спокойно заметил Сократ.

— Какое же? — спросил обрадованный собеседник.

— Поменьше ешь! Тогда жизнь будет и приятнее и дешевле.

В другой раз кто-то говорил, что хочет попасть на Олимпийские игры, но боится идти в Олимпию: далеко очень.

— А разве ты и дома не гуляешь целый день? — спросил Сократ. — Если бы ты растянул в одну линию свои прогулки в течение пяти или шести дней, то как раз и получился бы путь от Афин до Олимпии.

Известно изречение Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». Об этих словах напоминают теперь тем, кто почитает себя всезнайками: они говорят о скромности. Но в устах Сократа они имели иной смысл: Сократ хотел показать, как мало знают люди, хотя подчас и мнят себя весьма сведущими, если даже он, прославленный многими как мудрейший в Греции человек, ничего почти не знает. Изречение Сократа в то время подрывало веру людей в знания.

Это было не случайно. Сократ был уверен, что люди и не могут знать многоного. Он не был безбожником, как Анаксагор или Демокрит. Он верил в богов, в чудеса, и исправно приносил жертвы богам. Сократ поучал: умилостивляй богов жертвами, не жалей средств на жертвы, угодить богам ничем нельзя так, как возможно большим повиновением.

Сократ считал, что мир создан богами и не дело людей пытаться проникнуть в тайны природы — «в замыслы бессмертных». Он отговаривал изучать астрономию и другие науки, называя глупцами тех, кто стремился понять, как устроен мир и по каким законам происходят небесные явления. Об этом ведают лишь одни боги, а смертным этого понять на дано.

Сократ не раз ополчался против идей Анаксагора. Пользуясь слабостью научных знаний у людей того времени, он опровергал гениальные догадки Анаксагора так: «Анаксагор говорил, что огонь и солнце — одно и то же; но он упустил из виду то, что на огонь люди легко смотрят, а на солнце глядеть не могут, что от солнечного света люди имеют более темный цвет кожи, а от огня нет...» Зачем изучать природу, рассуждал Сократ: разве, познав, по каким законам происходят небесные явления, люди могут вызвать по своему желанию дождь, ветер, смену времен года?

Но раз люди, по мнению Сократа, не могут познать природу и ее законы, то единственное, что им остается, — это познать самих себя, свое поведение, свои поступки. Сократ и ограничивался тем, что рассуждал о поступках справедливых и несправедливых, угодных и неугодных богам.

Как сильно отличалось учение Сократа от учения Анаксагора или Демокрита! Демокрит звал людей проникнуть в тайны природы, Сократ — ограничиться человеческими делами. Демокрит прозревал вперед, нисровергал богов и религию, Сократ защищал и обосновывал религиозные взгляды.

Демокрит разбивал оковы суеверий, Сократ разделял их, как и любой невежественный афинянин. И если Сократ высказывался против некоторых мифов о богах, рисующих небожителей жадными, завистливыми, хвастливыми, то лишь потому, что хотел укрепить веру в богов, представив их мудрыми, всеведущими и добрыми к людям.

Алексид оказался во власти мыслей и обаяния афинского мудреца. Важнее то, что автор повести, английский писатель, не сумел верно рассказать об этом.

Сократ любил испытывать людей. Он задавал им внешне невинные вопросы, один за другим, и в конце концов приводил собеседника к противоречию с самим собой или к утверждению чего-либо немыслимого или абсурдного, доказывая этим, что собеседник не умеет рассуждать или не знает того, в чем долгое время был уверен.

Ученик Сократа, писатель Ксенофонт, запомнил беседы Сократа с молодым Евфидемом. Этот юноша составил богатую библиотеку из сочинений знаменитых поэтов и ученых и ввиду этого считал себя умнее своих сверстников; он лелеял мечту затмить всех своим ораторским искусством и стать руководителем государства.

— Так как ты готовишься быть во главе демократического государства, то, без сомнения, знаешь, что такое демократия? — словно невзначай, спросил его однажды Сократ.

— Еще бы не знать! — отвечал Евфидем.

— Что же, по-твоему, демос?

— По-моему, это бедные граждане.

— Стало быть, ты знаешь бедных? Знаешь и богатых?

— Ничуть не хуже, чем бедных.

— Каких же людей ты называешь бедными и каких богатыми?

— У кого не хватает средств на насущные потребности, те, я думаю, бедные, а у кого из больше, чем достаточно, те богатые.

— А замечал ли ты, что некоторым не только хватает самых незначительных средств, но они еще делают сбережения, а некоторым богачам недостает даже очень больших средств?

— Да, клянусь Зевсом! — отвечал Евфидем. — Хорошо, что ты мне напомнил, — я знаю таких.

И Евфидем вспомнил, что даже некоторым богачам-правителям, поработившим народ, не хватает средств и они прибегают к незаконным поборам.

— Но если это так, — закончил Сократ спокойно, — то таких богачей мы причислим к демосу, а владеющих небольшими средствами, но экономных, к богатым!

Евфидем был совсем сбит с толку. В отчаянии он махнул рукой: лучше уж я буду молчать!

Сократ, по-видимому, хотел показать Евфидему, что тот не умеет правильно определить, кто такие богатые и кто бедные, Евфидем подумал лишь о том, хватает или не хватает человеку средств на жизнь, а не велики или малы эти средства сами по себе (ведь и бедные, терпя нужду, могут как-то прожить на свои средства). Но можно предположить и другое, а именно: что Сократ выбрал тему о демократии неспроста, решив поколебать уверенность Евфидема в справедливости демократических порядков в Афинах. «Сократ — и против демократии?!» — с удивление воскликнут те, кто внимательно читал повесть и запомнил, как ловко Сократ разделял наглого аристократа Гиппия и как был предан Сократу Алексид, враг заговорщиков-аристократов, рисковавший жизнью, чтобы помочь своим согражданам сохранить демократию. Да, все, что мы знаем о Сократе, каким он был в действительности, говорит о том, что он не был сторонником афинской демократии, а высказывал явную благосклонность к аристократии. В повести Джеки Триза взгляды афинского мыслителя обрисованы неточно.

Сократ, например, говорил: «Как глупо выбирать должностных лиц в государстве посредством бобов, тогда как никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плотника, флейтиста или исполняющего другую подобную работу, ошибки которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки в государственной деятельности». Но мы знаем, что выборы посредством бобов были одним из главных законов афинской демократии, позволявшим простым и бедным людям участвовать в управлении государством. Сравните эти слова Сократа со спором Сократа и Гиппия, как он изложен в повести: подлинные речи Сократа напоминают не слова Сократа — героя повести, а рассуждения аристократа Гиппия. Даже во время войны Афин с аристократической Спартой Сократ советовал афинянам взять спартанцев за образец и завести такие же порядки, как и у них. Демократический облик Сократа (его бедность, простота, бескорыстие) не соответствовал смыслу его учения.

Вспомним еще разговор Алексида с отцом о Сократе. Леонт внушал сыну, чтобы он прекратил знакомство с Сократом, ссылаясь на то, что Сократ окружен молодыми людьми из аристократических семей и сторонниками спартанцев. Алексид возражал. Читатели могли

решить, что прав юный герой повести. Но это не так. Хотя отец Алексида, может быть, и преувеличил опасное влияние Сократа на молодежь, он верно отзывался о людях, окружавших афинского мудреца. Учение Сократа подхватили сторонники аристократов, как, например, бегло очерченный в повести Платон, который действительно (как и в повести) называл народ «чернью».

Платон, развивая мысли Сократа, всю жизнь боролся с идеями мыслителя-бездожника Демокрита. Древние писатели рассказывают, что он скупал сочинения Демокрита и сжигал их. Так уже в Древней Греции началась борьба защитников религиозных учений с учеными-бездожниками. И засинателем этой борьбы выступили Сократ и его ученики.

Вряд ли Алексид был полностью прав и в своей комедии, написанной в защиту Сократа.

Глава 5

Древнегреческая комедия

Очевидно, вы не раз бывали в театре и, читая повесть Триза, сравнили то, что узнали о театре в древних Афинах, с тем, что видели в наших театрах. Различия бросаются в глаза: и внешний вид театра был иной, и пьесы по своему построению отличались от современных: в них в то время неизменно участвовал хор, актеры и хореяты (участники хора) выступали в масках. Но чем это было вызвано?

Театр в древних Афинах был любимым зрелищем народа. И млад и стар стремились попасть на театральные представления. Поэтому они разыгрывались под открытым небом, а театр представлял собой огромное полукружие с поднимающимися вверх по склону холма скамьями для зрителей: он вмещал тридцать тысяч человек. Внизу находилась круглая площадка — орхестра, на которой выступали актеры и хор. С той стороны, где не было скамей, ее замыкало здание — сцене. На фасаде его укреплялись декорации. Отсюда произошли наши слова «сцена» и оркестр", имеющие, однако, иной смысл: в Греции сценой служила обычно орхестра, но действующие лица могли появляться и на площадке сцены и даже не ее крыше. Если надо было изобразить полет героя или появление бога с небес, использовалась театральная машина. Это был наклонный деревянный столб, что-то вроде нашего журавля у колодца; к нижнему концу его прикрепляли груз для противовеса, а к верхнему — сиденье для актера, изображающего бога.

Маски для актеров делались из дерева или полотна, пропитанного гипсом. Мaska изображала характерную черту действующего лица, — скажем, убитого горем старика или плутоватого раба. Благодаря маскам даже зрители верхних рядов легко различали, какую роль играет актер. А чтобы актеров было лучше видно, они выходили на орхестру в обуви на высоких деревянных колодках — котурнах.

Теперь вы можете пойти в театр или кинотеатр в любой день. В Афинах же представления устраивались один или два раза в год. Ежегодно в конце марта — начале апреля отмечались Великие Дионисии — праздник в честь бога Диониса, считавшегося покровителем театра (действие нашей повести и начинается и завершается в дни этого праздника — оно охватывает ровно год). Представления на празднике Великих Дионисий продолжались три дня.

Ежедневно по утрам играли три трагедии, а после полудня — одну или две комедии. Зрители проводили в театре целый день. Здесь они пили и ели. Все были одеты в праздничные одежды и украшены венками.

Театральные представления в Афинах были состязаниями драматургов, подобно тому как спортивные праздники — состязаниями атлетов. Избранные народом судьи решали, какая пьеса лучшая. Автора-победителя увенчивали венком из плюща. Он был окружен

почетом и уважением всех афинян, им гордилась его семья, друзья. Так и отношение к Алексиду сразу изменилось, как только стало известно, что он одержал победу на драматургическом состязании.

В Афинах было много опытных актеров, которые могли быстро разучить свои роли. Труднее было подготовить хор. В комедиях он состоял из двадцати четырех человек. Поэтому получить для представления хор означало то же самое, что добиться права поставить пьесу. Распорядителями были архонты. Драматург, желавший поставить пьесу, должен был просить у архонта хор. Архонт, познакомившись с произведением, мог дать хор или отказать в этом. Поэтому Алексид с таким волнением ожидал решения архонта.

Древнегреческая комедия не делилась на действия и сцены, как современные пьесы. Она начиналась с пролога, из которого зрители узнавали о завязке сюжета. Затем чередовались диалоги актеров и выступления хора — песни и пляски, исполнявшиеся в музыкальном сопровождении. Один раз на протяжении действия актеры уходили со сцены, хор поворачивался к зрителям, хореуты снимали маски, показывая этим, что происходит на сцене не связано с сюжетом комедии, а руководитель хора — корифей — обращался к зрителям; устами корифея автор комедии высказывал свои мысли на любую тему — о политике, об искусстве, — иногда корил зрителей за неблагодарное отношение к его произведениям, иногда нападал на противников. К этому приему прибег и Алексид, вложив в уста корифея стихи о разоблаченном заговоре аристократов.

В своей комедии Алексид подражал Аристофану. Помните, еще в начале повести он присутствовал на представлении комедии Аристофана и сразу после спектакля начал сам слагать стихи, высмеивающие аристократов.

Однинадцать комедий великого греческого драматурга дошли до нас. Они и поныне поражают игрой фантазии, каскадом язвительных шуток и насмешек, поэтичностью партий хора, остротой политической мысли.

О чём писал Аристофан? Одной из излюбленных тем его была защита мира.

Шла война. Спартанцы совершали опустошительные набеги на окрестности Афин; афинские триеры нападали на берега Спарты. Сильнее всех от этой войны страдали афинские крестьяне. Спартанцы вытаптывали их поля, вырубали виноградники и оливковые деревья. Мечты крестьян и других простых тружеников о мире выразил Аристофан. Одну из своих комедий он так и назвал «Мир».

Сюжет ее фантастичен. Он напоминает сказку. Но все фантастические и комические сцены подчинены одной мысли: защите мира.

Афинский виноградарь Тригей воодушевлен идеей установить мир между греками и спасти от гибели всю Элладу. Он садится на огромного навозного жука и возносится на Олимп, чтобы вернуть на землю богиню Мира. Но оказывается, что страшный бог войны заточил богиню Мира в пещере и завалил вход огромным камнем. Тригей обращается с призывом к грекам:

Теперь настало время, братья эллины,
Оставив распри, позабыв усобицы,
На волю нам богиню Мира вывести...
Эй, пахари, торговцы, люд ремесленный!
Эй, рукоделы, поселенцы и метеки
И вы, островитяне, весь народ сходись!

На оркестру выходит хор. Он изображает афинских крестьян. Хор поет:

О всеэллинское племя!
Друг за друга встанем все,
Бросим гневные раздоры и кровавую вражду!
Собираются граждане греческих государств. Вооружившись лопатами и веревками,

тянут камень. Не все работают старательно. Раздаются насмешки над жителями городов, которые не хотели мира между Афинами и Спартой. Наконец камень отвален. Из пещеры выходит богиня Мира. На земле воцаряется мир.

Перед Тригеем появляются радующиеся миру ремесленники. Они дарят ему изделия своего труда. В растерянности торговцы оружием: что им делать со шлемами, панцирями, копьями? Тригей издевательски предлагает им купить панцирь, чтобы использовать его... как стульчик. Он готов купить и копья, чтобы перепилить их надвое и сделать из них колышки. Комедия завершается праздником. Хор славит прелести мирной жизни.

Так Аристофан в то далекое от нас время проводил мысль о плодотворности усилий простых людей всех государств в борьбе за мир.

Мы вспомнили лишь некоторые эпизоды прочитанной повести, но теперь вам должно стать яснее, что же могло быть в действительности и почему это именно так. И я думаю, вас не разочарует то, что герои повести Алексид, Коринна, Лукиан и их близкие — плод авторского вымысла. От этого их приключения не стали менее интересными, а описания быта, занятий, развлечений древних афинян — менее достоверными. Разве не могло быть в жизни таких подростков?

Джефри Триз, к сожалению, не сумел дать правильную оценку учению и деятельности афинского мыслителя Сократа, не рассказал о тяжелой доле рабов, да и о многом еще, что мог увидеть и пережить афинский мальчик; ему, очевидно, было жаль Алексида и Коринну, и он «помог» им сохранить дружбу, придумав маловероятный в той далекой жизни счастливый конец — эпизод с нахождением настоящих родителей. Но английский писатель, не превращая своих героев в наших современников, наделенных нашими мыслями и представлениями о мире, сумел сделать их по-человечески понятными, близкими нам. И наверное, читая повесть, вы не раз вспоминали черты знакомых ребят из вашего класса или вашего дома.

Остроумный, находчивый Алексид обладал не только поэтическим даром, но и крепким здравым смыслом, заставлявшим его слегка иронически относиться к суевериям афинян; с любопытством присматривался он к инакомыслящим людям. Коринна, то лукавая и дерзкая, то внимательная и заботливая, подкупает независимостью своих суждений, глубокой преданностью дружбе. Лукиан, недалекий и спесивый, больше полагался на силу кулаков, чем аргументов, и, не раздумывая, придерживался всех наставлений своего отца, ревнителя афинского благочестия. Для Лукиана дружба с Коринной — унижение: ведь девочка из семьи неполноправных граждан — метеков.

Нарастает конфликт между мальчиками, которые вначале разыгрывали из себя древних героев Ахилла и Патрокла, чья дружба вошла у греков в поговорку. Они спорят, ссорятся, дерутся. Смогли ли вы почувствовать за этими спорами не только разницу характеров, но и различие складывающегося взгляда на жизнь: широкого и гуманного у Алексида и узкого, ограниченного сословным высокомерием у Лукиана? Детская, бездумная дружба разрушается у нас на глазах: не верится, что Алексид и Лукиан смогут сохранить дружеские отношения, когда вырастут, возмужают. Это нетрудно понять: Лукиан, как и Алексид, воспитан в верности афинскому демократическому строю. Когда над родным городом нависла угроза, мальчики снова встали плечом к плечу. Дружба не может быть прочной без глубокого совпадения мыслей и отношения к жизни, но единство целей объединяет и людей, которые не чувствуют друг к другу дружеской привязанности.

Казалось бы, как давно жили герои повести, как давно ушел в прошлое окружавший их мир — почти две с половиной тысячи лет минуло с тех пор, — и все же не только развалины храмов на земле древней Эллады или остатки давно угасшей жизни, разыскиваемые археологами под землей, напоминают нам о Древней Греции, ее людях, их мыслях и творениях. Мы идем в театр и смотрим там пьесы древнегреческих драматургов, мы

посещаем музеи и любуемся статуями, созданными греческими мастерами, мы читаем произведения греческих писателей, и они по сей день доставляют нам высокое художественное наслаждение. Наша литература, искусство, театр, многие научные идеи своими глубокими корнями уходят в древнегреческий мир. И, если этот мир стал вам теперь ближе и понятнее, в этом заслуга автора повести, английского писателя Джефри Триза.

А.С.Завадье

Примечания

1

Пан — древнегреческий бог стад и лесов; его обычно изображали в виде косматого человека со свирелью, с козлиными ногами и с рожками на лбу; по поверью, встречавшиеся с ним люди впадали в священное безумие

2

празднства в Древней Греции в честь Диониса — бога виноделия

3

гоплит — тяжеловооруженный пеший воин

4

пеплос — верхняя женская одежда

5

педагог — в Древней Греции раб, обязанностью которого было водить детей в школу и следить за их учением

6

общественное здание, в котором занимались атлетическими упражнениями

7

эфебы — юноши от восемнадцати до двадцати лет, проходившие военное обучение в отрядах на границах страны

8

софист — учитель философии и красноречия в Древней Греции

9

человек, оплачивавший расходы на праздничное театральное представление; эта и другие подобные же повинности заменяли в Афинах налоги

10

локоть — мера длины, около 0,5 метра

11

эвпатриды — афинская родовая знать

12

место, где располагался хор

13

котуры — особая обувь на высокой подошве, которую надевали трагические актеры, чтобы казаться выше ростом

14

эпизодии — части, на которые разделялась древнегреческая трагедия

15

предводитель хора в древнегреческом театре

16

стадий — мера длины, около 180 метров

17

Ахилл и Патрокл — древнегреческие герои; их дружба и скорбь Ахилла по убитому Патроклу описаны в поэме Гомера «Илиада»

18

метеки — так называли постоянно живших в Афинах чужестранцев; метекам разрешалось торговать и заниматься ремеслами, но гражданскими правами они не пользовались

19

десять округов, на которые делилось Афинское государство

20

палестра — место для занятий гимнастикой и борьбой

21

древнегреческие произведения писались на длинной и узкой (20-30 см) полосе папируса; к ней с двух концов прикрепляли палочки и читали, перематывая полосу с одной палочки на другую

22

портик — крытая колоннада

23

Совет Пятисот — высший государственный орган в Афинах

24

архонты — девять высших должностных лиц в Афинах; стратеги — десять выборных военачальников, совместно командовавших афинской армией

25

афинский государственный деятель (ок. 451-404 до н.э.); помогал спартанцам в их борьбе против Афин

26

до нас не дошло ни одно произведение Сократа; его философские взгляды известны нам из сочинений его учеников — Ксенофона и Платона

27

большая чаша, в которой смешивали вино с водой

28

триера — древнегреческий военный корабль с тремя рядами весел